

Петр Валув

# Черный бор



# Петр Александрович Валуев

## Черный бор

### Аннотация

«Стенные часы в кабинете Степана Петровича Сербина пробили десять. Он взглянул на них, встал из-за письменного стола, пожал плечами, подошел к открытому окну и сердитым голосом кликнул проходившего мимо окна кучера Никиту.

– Чего изволите? – отвечал Никита, сняв шапку и подойдя к окну.

– Неужели Архип еще не вернулся? – спросил Степан Петрович...»

# Черный бор

*(Из недавнего прошлого одной из подмосковных губерний)*

## I

Стенные часы в кабинете Степана Петровича Сербина пробили десять. Он взглянул на них, встал из-за письменного стола, пожал плечами, подошел к открытому окну и сердитым голосом кликнул проходившего мимо окна кучера Никиту.

– Чего изволите? – отвечал Никита, сняв шапку и подойдя к окну.

– Неужели Архип еще не вернулся? – спросил Степан Петрович.

– Никак нет-с, не вернулся. Мы еще недавно высматривали, не завидим ли его на пригорке, где поворот; но на дороге никого не было видно.

– Он всегда опаздывает... Зачем было его посылать!

– Не я посылал, Степан Петрович. Ему Иван Фомич приказал ехать... Дорога больно дурна за лесом, у самой станции. Поневоле опоздаешь.

– Дорога всегда была дурна, а другие не опаздывали. Хо-

рошо. Ступай.

Степан Петрович отошел от окна, еще раз посмотрел на часы, постоял с минуту в раздумье, потом взял с соседнего стола соломенную шляпу и трость и через смежный с его кабинетом коридор прошел в столовую, на противоположной стороне дома. С этой стороны к дому примыкал сад. Двери были открыты, и Степан Петрович направился по прямой аллее к выстроенному в конце ее павильону.

Павильон, лет сорок тому назад обновленный прежним владельцем села Васильевского в том самом виде, в каком он первоначально был выстроен еще при Александре I, с покоившимся на четырех колоннах греческим фронтоном, был перестроен Степаном Петровичем Сербиным в русском стиле. Покосившиеся и подгнившие дорические колонны исчезли. Перистиль обратился в крыльцо с прорезными перилами. Фронтон был заострен и окаймлен приделанными к нему прорезными украшениями одинакового с перилами узора. Позади павильона две обсаженные акациями дорожки расходились в разные стороны. Одна из этих дорожек вела к выходу из сада, по направлению к оранжереям и к расположенному за ними обширному огороду; другая приводила к калитке, через которую можно было перейти в отдельный палисадник, устроенный перед домом, где при прежнем владельце помещался садовник, а теперь жила дальняя родственница Сербина Прасковья Семеновна Криленко, вдова умершего года два тому назад профессора одного из южных

университетов.

Не доходя до павильона, Сербин оглянулся и, заметив, что в это время его дочь выходила из боковой аллеи в среднюю, повернул назад.

– Ты еще в саду, Вера, – сказал Степан Петрович, – а мне сейчас показалось, что я тебя слышал в гостиной.

– Да, папá, – отвечала молодая девушка. – Я было села за фортепиано – но нет охоты играть. Сегодня такая прекрасная погода, что я не выдержала и опять вышла в сад.

– А теперь ты, вероятно, зайдешь к мамá?

– Да, я еще не видела ее сегодня. После вчерашней головной боли она еще не вставала, когда я с час тому назад спрашивала о ней.

– К сожалению, эти головные боли теперь все чаще и чаще возвращаются, – сказал Степан Петрович, направляясь вместе с дочерью к дому; но, не доходя до расположенного перед ним полукругом цветника, он остановился, потом прибавил: – И мне в эту погоду как-то не сиделось в моем кабинете. Я хотел пройти в оранжереи, а оттуда, быть может, и до ближнего поля. После бывшего третьего дня дождя ячмень заметно поправляется... До свидания, Вера.

Сербин повернул назад к павильону, а молодая девушка медленным шагом дошла до цветника, раскрыла для защиты от солнца зонтик, нагнулась и стала медленно срывать маргаритки из обведенной вокруг цветника пестрой каймы, но между тем смотрела вслед отцу. Она заметила, что его

соломенная шляпа промелькнула между акациями на одной из дорожек за павильоном. Тогда она оставила маргаритки, выпрямилась, простояла с минуту в раздумье, потом подошла к дверям столовой, но, не входя в дом, села у стены на скамье и, по-видимому, снова предалась прежнему раздумью. Одна рука продолжала держать над головой зонтик, хотя скамья была в тени; другой рукой она сжимала стебельки нарванных маргариток, но не смотрела на них; ее глаза были опущены и взор неподвижен.

Размышления Веры были прерваны вышедшей в сад Анною Федоровной Сербиной.

– Здравствуй, Вера, – сказала Анна Федоровна тем мягким, кротким голосом, который ей был неизменно свойствен.

Вера встрепенулась, торопливо встала и подошла к матери.

– Здравствуйте, мамá, – сказала Вера. – Я ведь уже была у вашей двери, но побоялась войти. Наташа меня уверила, что вы еще не просыпались. Как вы чувствуете себя сегодня?

Молодая девушка заботливо смотрела матери прямо в глаза, стараясь в них заранее вычитать себе ответ.

– Сегодня, слава Богу, хорошо, – отвечала Анна Федоровна. – Я только поздно встала. Мне нужно было порядком отдохнуть после вчерашней головной боли... Смотри, ты обронила цветы.

– Бедняжки! – сказала как-то уныло Вера, подбирая мар-

гаритки. – Напрасно я вас и срывала, чтоб так скоро забыть...

– Дай их мне, – продолжала Анна Федоровна. – Я ведь очень люблю маргаритки. Может быть, ты и подумала обо мне, набирая их.

– Я всегда о вас думаю, милая мамá; но, признаюсь, этот раз я не подумала о вас...

– Все равно ты их мне отдашь теперь... А не знаешь, где папá?.. Почту привезли?.. Он два раза о ней спрашивал.

– Папá ушел в поле, – отвечала Вера как бы равнодушно. – Он, кажется, хотел взглянуть на ячмень после дождя. Он скоро должен вернуться.

– Не пойти ли нам к нему навстречу?

– Нет, мамá, нет. Вам после вчерашнего дня не следовало бы вовсе выходить в сад, на солнце.

– Ты, пожалуй, права. Пойдем на мой балкон. Мы там можем дожидаться папá. Он к завтраку во всяком случае будет.

Степану Петровичу было нетрудно вовремя вернуться к завтраку. Он вовсе не заходил в оранжерею и вовсе не осматривал ярового поля; другие причины могли замедлить его возвращение. Он был у Прасковьи Семеновны Криленко, и объяснение между ними помимо его воли затягивалось. Он упрашивал ее прийти к обеду. Она не соглашалась, говоря, что убедилась, наконец, в том, что ей больше нельзя оставаться в Васильевском. Степан Петрович был в сильном волнении. Он судорожно сжимал сложенные за спиной

руки и то ходил взад и вперед по комнате, прервав разговор, то вновь останавливался перед Прасковьей Семеновной и возобновлял обращаемые к ней увещания и просьбы. Прасковья Семеновна сидела неподвижно в углу стоявшего вдоль стены дивана и отвечала отрывисто, ровным, сдержанным голосом, часто поднося платок к глазам, на которых несколько раз выступали слезы. Она почти не смотрела на Степана Петровича, и он напрасно старался поймать ее взгляд.

Прасковье Семеновне было под тридцать лет, но она казалась моложе, будучи небольшого роста, худощавой, с тонкими чертами лица, того круглого типа, который бывает одинаково свойствен женщинам великорусского и малорусского племени. Она производила приятное впечатление на всех, кто ее в первый раз видел. Внимательный взгляд ее темно-серых глаз, светившихся темным блеском под прямыми линиями черных бровей, возбуждал к ней внимание каждого. Все движения ее были тихи, ровны, голос всегда сдержан, и эта сдержанность скрадывала прирожденный ему жесткий звук. Прасковья Семеновна также сдержанно смеялась, когда ей случалось смеяться; но она смеялась редко и почти всегда жаловалась на болезненность, хотя таким жалобам противоречили свежие краски ее лица, тем более заметные, что они редко встречаются при черных, как смоль, волосах и худощавом телосложении. Складка между бровями, сжатые тонкие губы и общее выражение в чертах лица какого-то затаенного



огорчения или постоянной озабоченности, в свою очередь, противоречили тем краскам. Всматриваясь в Прасковью Семеновну, нетрудно было остановиться на мысли, что сетования на здоровье служили ей только маской для прикрытия других забот и что посреди этих забот она умела, по мере надобности, и терпеть, и покоряться. В Степане Петровиче Сербине, напротив того, все с первого раза изобличало привычку ломать все, что его произволом могло быть переломлено. Нетерпимость к чужим мнениям постоянно слышалась в его речах, пренебрежение к чужой воле сквозило во всех его поступках. Его собственное «я», в мире мысли и в житейских делах, всегда стояло, сознательно или бессознательно, на первом плане. В доме никто не решался ему противоречить, кроме дочери, к которой Степан Петрович обнаруживал особую слабость, часто повторяя, впрочем, что он ее балует. Она одна безбоязненно высказывала при нем свое мнение и была усердным ходатаем за всех, кто перед Степаном Петровичем имел нужду в ее ходатайстве. При этом и Вере нередко случалось привлекать на себя взрывы свойственной ее отцу вспыльчивой раздражительности; но для нее такие бури проходили бесследно, и он сам, обыкновенно, старался загладить произведенное впечатление.

В продолжение разговора с г-жой Криленко Степан Петрович несколько раз возвышал голос и от просьб переходил к упрекам и угрозам; но тогда Прасковья Семеновна совсем переставала отвечать и упорно смотрела в открытое на пали-

садник окно, не произнося ни одного слова до тех пор, пока Сербин не изменял тона речи. Наконец, он взял у окна стул, поставил его перед диваном против угла, в котором сидела Прасковья Семеновна, и, не садясь сам, а держась обеими руками за спинку стула, сказал:

– Полина, нужно нам покончить раз навсегда с этими несносными беспрерывными недоразумениями. Мое положение ясно, определено. Ты знаешь, что я тебя люблю. Я тебе и сердце, и душу отдал. В тебе я нашел то, чего сердце желало и требовал ум. Мы понимаем друг друга. Мы можем жить одной мыслью. Русская струнка звучит и в тебе, как во мне. Мы одно и то же любим и одно и то же ненавидим. Расстаться с тобой я не могу, но не могу и помешать тебе расстаться со мною. Ты властна меня бросить, убить меня горем; но двух вещей ты меня сделать не заставишь. Я не могу оскорблять жены и дочери, и не дам повода наброшенную на меня тень перебрасывать на общее дело, в котором я участник. Вот, скажут, он, тот истинный «русский человек», который дорожит отцовскими преданиями, помнит старину, усердно воюет против всякой заморской гнили. Хорош он! Завел себе в доме любовницу и выжил из дому жену и дочь...

Прасковья Семеновна судорожно поднесла платок к глазам и снова заплакала.

– Благодарю вас, Степан Петрович, – возразила она прерывающимся голосом. – Если я имела несчастье вас полюбить и себя для вас скомпрометировать, то никак не ожида-

да, что вы меня когда-нибудь так грубо обзовете любовницей...

– Полина! – продолжал почти жалобным тоном Степан Петрович. – Ты меня должна понимать. Не я так говорю; я привожу только то, что будут говорить другие...

– И другие никогда так говорить не будут, – отвечала Прасковья Семеновна, – если вы сами к тому не дадите повода. Кто же просит вас выживать из вашего дома жену и дочь?

– Но если бы я из-за тебя стал делать им сцены и в чем бы то ни было изменять мои привычки, то разве это было бы не то же самое?

– И сцены делать никто вас не просит. Я только чувствую, что ваша жена и ваша дочь кругом правы, и сама признаю, что я им должна уступить место. Они меня выживают из дому.

– Полина! зачем клеветать на них?

– Вот, я еще и клеветницей стала! Степан Петрович, я давно замечаю, что вы меня разлюбили и только из жалости не решаетесь окончательно оттолкнуть.

– Полина! – сказал Сербин, садясь на поставленный им стул и взяв руку Прасковьи Семеновны в свои руки. – Ты сама не веришь тому, что теперь говоришь. Ты знаешь, что я тебя не могу разлюбить. Но не приводи меня в отчаяние требованием невозможного. Наши отношения должны оставаться тайной для других. Ни жена, ни дочь их не подозревают. Они обе всегда к тебе внимательны и любезны.

– Да, при вас; они даже стараются тогда показывать особенное внимание ко мне.

– Но вы почти и не видите иначе, как при мне.

– Я, конечно, избегаю всяких других встреч; но и при вас я вижу в их глазах и в их голосе слышу, что они меня ненавидят.

– Это воображение. Все знают, что ты мне родственница и что особые обстоятельства меня заставили заняться твоими делами. Всем должно казаться естественным, что до устройства этих дел ты как будто остаешься на моем попечении.

– Нет, Степан Петрович, это не воображение; моя роль здесь никому не кажется понятной. Нечего делать, нужно покориться необходимости. Вы устроить моих дел не можете, и я должна удалиться. Лучше переносить одиночество и бедность, чем постоянное уничтожение. – При этих словах слезы вновь выступили на глазах Прасковьи Семеновны. Она высвободила руку из рук Степана Петровича и заслонила ею глаза.

Сербин встал и после минутного молчания сказал:

– Как хочешь. Далее идти и поступать иначе не могу. Я всячески старался тебе доказать мою привязанность и сделать тебе жизнь если не вполне приятной и удобной, то, по крайней мере, сносной, насколько то от меня зависело. Я старался и будущность тебе обеспечить. Не далее как сегодня я хотел предложить после обеда поездку на Черный Бор.

Я тебе уже говорил, что это имение продается. Я его имею в виду для тебя.

– Оно вовсе не продается, – сказала Прасковья Семеновна, опустив руку и остановив внимательный взгляд на Сербине.

– Нет, мне писали из Белорецка, оно решительно назначено в продажу. Владелец уезжает за границу, и ему нужны деньги.

– Зачем издеваетесь вы надо мной, Степан Петрович? Вы, очевидно, боитесь людей и должны их бояться. Что же скажут они, если вы для вашей любовницы купите еще имение?

– Полина! зачем тебе огорчать меня сомнением в моей искренности? Ты ведь знаешь, что не я буду покупщиком и не я буду торговать имение.

– Не сомневаюсь в вашей искренности, – сказала мягким голосом Прасковья Семеновна. – Знаю вашу добрую волю. Но никто не поверит тому, чтобы у моей тетки нашлись деньги для покупки такого дорогого имения.

– Оно не может быть дорогим, – отвечал Степан Петрович. – Хозяин в нем никогда не бывал и ему цены не знает, а между соседями нет покупщиков с деньгами. Имение достанется почти даром, если вырубить лес, который до сих пор старательно сберегали. При помощи Болотина твоя тетка может стать покупательницей для тебя, не возбуждая больших о том толков. Болотин у меня в руках и меня не выдаст. Ко-

гда дело сделается и ты там поселишься, всяким толкам скоро настанет конец. Ты будешь полной у себя хозяйкой, и никаким вопросам и речам об обидах и тому подобном не будет места.

Прасковья Семеновна призадумалась, потом сказала:

– Тогда поезжайте без меня в Черный Бор. Увидим, что вам там скажут. Сегодня быть к обеду я все-таки не могу. Я слишком расстроена, и моя обычная нервная боль в спине не дает мне покоя. Впрочем, оно и лучше, если вы без меня будете осведомляться... Скажите у себя – или нет, я сама позже пошлю сказать, что извиняюсь, – я еще нездорова.

– Но завтра ты будешь, не правда ли? – сказал с повеселевшим лицом Сербин.

Госпожа Криленко молчала. Степан Петрович повторил вопрос.

– Буду, – тихо ответила Прасковья Семеновна. – Что же делать мне? Я невольница. Вы меня подчинили своей воле...

– Полина! – воскликнул с упреком Степан Петрович. – Вот так-то лучше. У меня от сердца отлегло. Вперед, надеюсь, не будет более речи об отъезде.

– Не могу обещать без оговорки, – отвечала Прасковья Семеновна. – Не от меня одной все зависит. Но, – прибавила она, любезно взглянув на Сербина, – вы знаете, что я сама не желаю с вами расстаться.

– Благодарю за доброе слово, – сказал Сербин, взяв Прасковью Семеновну за руки и поцеловав обе руки. – Теперь

мне пора уходить, и я ухожу спокойный...

– Надеюсь еще сегодня услышать о том, что вы узнаете насчет Черного Бора, – сказала г-жа Криленко.

– Конечно, – отвечал Сербин.

Когда он вышел, Прасковья Семеновна встала у открытого окна. Проходя через палисадник, Степан Петрович кивнул ей головой, потом отворил карманным ключом калитку в сад, запер ее за собой и быстрыми шагами направился мимо павильона к своим оранжереям.

Прасковья Семеновна долго стояла в раздумье, прислонясь к окну и машинально перебирая в руках бахрому выброшенной на ней мантильи. Потом она села за поставленные близ окна пяльцы, на которых вышивала для себя красным шелком края малороссийской свитки из белого сукна, и спокойно принялась за работу.

## II

С полвека тому назад оба села, и Васильевское, и Черный Бор, принадлежали сенатору Бакларову, женатому на княжне Гариной. Он имел всего двух дочерей; из них одна вышла замуж за соседнего помещика Тебенина, а другая, раньше первой, – за поручика гвардии уланского полка барона Вальдбаха. Сенатор Бакларов жил в Черном Боре и завещал это имение младшей дочери, так как после замужества она в нем осталась жить со своим мужем, а муж ее принял

на себя, по желанию тестя, заведование хозяйством и бросил службу. Старшая дочь поселилась в Васильевском, и к ней это имение перешло окончательно по смерти отца, скончавшегося года два спустя после ее брака. У Тебениных было несколько детей; у баронессы Вальдбах – только один сын, да и тот умер на третьем году жизни. Вскоре после того скоропостижно скончалась и баронесса. Тогда село Черный Бор перешло по наследству к Тебениной, за выделом указной части, деньгами, барону Вальдбаху. Новый владелец в дело не входил, но все предоставил на произвол своего поверенного, а сам уехал за границу. Между местными старожилами сохранялись долго легендарные слухи о вражде, которую старшая из сестер Бакларовых с детства питала к младшей, о добродетелях и красоте баронессы Вальдбах, о страстной любви к ней ее мужа, о ее отчаянной горе при ее кончине, о загадочных обстоятельствах этой кончины и даже о каких-то видениях на черноторском кладбище, где баронесса была похоронена. При Тебениных дом в Черном Боре оставался запертым, и сад был запущен. Они жили в Васильевском и только через несколько лет, лишившись всех своих детей, продали оба имения и переселились в Москву. С тех пор Васильевское три раза переходило из рук в руки и наконец было куплено Степаном Петровичем Сербиным. Село же Черный Бор приобрел от Тебениных генерал Северцов, который в нем и жил до своей смерти; он обновил дом и все имение привел в полный порядок. Его наследник, пле-



мянник по сестре, полковник Алексей Борисович Печерин, редко посещавший Черный Бор, запустил имение, а сын его, Борис Алексеевич Печерин, со времени вступления в права владения имением даже и вовсе не бывал в нем, а поручил все хозяйство одному из прежних сослуживцев отца, отставному ротмистру Шведову, состоявшему членом белорецкой земской управы.

От Васильевского до Черного Бора было с небольшим четыре версты. Вид на господскую усадьбу открывался со стороны Васильевского, при самом выезде из ясеновой рощи, которую пересекала дорога. Каменные усадебные строения стояли отдельно, впереди села, близ почтовой дороги и наискось против находившейся по другую сторону дороги каменной церкви. Когда сокращалось число приходских церквей, предполагали отнести Васильевскую к приписным, а черноборскую оставить приходской; но стараниями Степана Петровича Сербина это было изменено, и в приписную обращена черноборская церковь, так как за нее отсутствующий помещик не мог предъявить ходатайства. Прихожане подавали несколько просьб, но эти просьбы остались без последствий. Необитаемый господский дом, с затворенными в нем окнами, запертыми воротами на большой, обнесенный каменной оградой въездной двор и заглохшим садом, производил грустное впечатление на стариков-крестьян. При Северцове, бывало, всякий мог к нему обратиться в случае нужды за советом или с просьбой о пособии. То же припоминалось

о временах Бакларова и барона Вальдбаха.

Степан Петрович Сербин думал только о том великолепном, занимавшем несколько сот десятин сосновом боре, которому имение было обязано своим названием; в Белорецкой губернии со дня на день этот бор приобретал большую ценность при почти повсеместном истреблении в ней лесов. Все черноборские владельцы дорожили этим сокровищем и заботливо его оберегали. Даже полковник Печерин допускал в нем только выборочную рубку перестойных деревьев. Степан Петрович хорошо знал бор, потому что он был для Анны Федоровны и для Веры любимой целью поездок по окрестностям и любимым местом прогулки. Он не без основания рассчитывал, по известным ему примерам, что при покупке имения от отсутствующего владельца и на тех условиях, на каких отсутствующие владельцы, даже знающие цену деньгам, вообще склонны продавать имения, один бор мог вознаградить покупателя за всю купчую сумму и за все с покупкою сопряженные издержки. Именно такие расчеты занимали ум Степана Петровича, когда он садился в коляску после обеда, для того чтобы вместе с женой и дочерью предпринять поездку на Черный Бор, о котором он утром говорил Прасковье Семеновне Криленко.

На пути Анна Федоровна спросила как-то, справедлив ли слух о том, что черноборское имение продается? Степан Петрович небрежно отвечал, что и он об этом слышал; владелец, не имея намерения жить в Черном Боре, вероятно,

не прочь от продажи.

– Жаль, что имение не продавалось тогда, когда ты купил Васильевское, – сказала Анна Федоровна. – Я помню, что ты осведомлялся и сам жалел о том, что в то время нам выбора не было. Местоположение там лучше нашего.

– Да, и дом переустроить стоило бы мне дешевле, – отвечал Сербин.

– Правда ли, – продолжала Анна Федоровна, – что ожидают скорого приезда молодого Печерина?

– Этому я мало верю, – сказал Степан Петрович. – Зачем ему приезжать, если он решился продать имение?

Разговор между спутниками скоро перешел от вопросов о современных и будущих судьбах Черного Бора к воспоминаниям о его прошлом, в связи с именами прежних владельцев. Вера заметила, что всякий раз, когда ей случается проезжать мимо пустынного черноборского дома, на нее производит какое-то особое грустное впечатление та лампадка, которая видна через окно в угловой комнате верхнего этажа, где, в память баронессы Вальдбах, устроена часовня. Анна Федоровна припомнила, что она ни от кого не могла узнать ничего положительного о том, что случилось с бароном Вальдбахом после его выезда из Черного Бора. Был слух, будто его раз видели здесь, после того как имение перешло от Тебениных к Северцову; но Степан Петрович сомневался в основательности этого слуха.

– Я и теперь сомневаюсь, – сказал Сербин. – Если бы

Вальдбах приезжал сюда, его бы где-нибудь видели, кроме Черного Бора, и он не переписывался бы из-за границы с Северцовым насчет надписи, которая, по его желанию, высечена на камне над могилой его жены.

– Это так, – отвечала Анна Федоровна, – но ведь говорили, будто он был после того, как вделана надпись, а не прежде.

– И это рассказ, ничем не подтвержденный, – сказал Степан Петрович. – Слух первоначально распространился от того, что однажды вечером в раннюю осень, в августе или сентябре, какой-то проезжий остановился у постоялого двора, за рощей, недоезжая Черного Бора. Нужно было что-то починить в его коляске, а пока этим занимались, проезжий воспользовался ясной погодой, чтобы при лунном свете пройти вперед, до села. У церкви он встретил старого сторожа Кондратия, которого вы знаете и который теперь с лишком двадцать лет при доме. Они разговорились; проезжий зашел на кладбище, а потом будто бы входил и в дом, поджидая коляски. Но Кондратий говорит, что он в доме не был и уехал, как скоро его догнала коляска. Северцов в то время был в Белоречке, но в доме оставались люди, и никто из них проезжего не видал.

– Я слышала, будто проходившая крестьянка узнала Вальдбаха в ту именно минуту, когда он простился со сторожем и уезжал.

– И мне это говорили; но Кондратий утверждал противное. При месячном свете это могло той бабе померещиться.

И для чего Кондратию лгать?

– Странно только, папá, – сказала Вера, – что как скоро пойдет речь о покойной баронессе или ее муже, что-нибудь всегда остается как бы неразъясненным или недосказанным.

– Иное, быть может, и неудобно было в свое время до-сказать, – отвечал Степан Петрович, – а теперь уже нельзя или поздно.

На этот раз, однако же, черноборский дом несколько изменил свой вид. В нем было заметно движение; дверь на подъездном крыльце и почти все окна были отворены; несколько рабочих занимались перед домом расчисткой дороги, огибавшей обсаженную кустами луговину.

– Не приехал ли Печерин? – сказала Анна Федоровна.

– Не может быть, – отвечал Степан Петрович. – Наши люди тотчас узнали бы об этом. Может быть, его ожидают, или ждут Шведова с каким-нибудь покупщиком, которому он хочет товар лицом показать.

Проезжая через село, Степан Петрович раза два останавливался, чтобы опросить встречавшихся крестьян; но он не добился от них ничего положительного. Одни говорили, что управляющий дал знать о приезде барина и приказал наскоро приготовить дом; другие передавали, что слышали от конторщика, что управляющий сам приедет с кем-то из Белорецка, но с кем именно, не могли объяснить. На обратном пути в Васильевское Степан Петрович был молчалив и казался озабоченным.

Прошло несколько дней. Всем сомнениям насчет приезда Печерина положен был конец. Дом в Васильевском наполнился слухами и рассказами о новом соседе. Его появление было крупным событием среди тихого однообразия сельской обыденной жизни. Он приехал один, с камердинером, которого еще помнил бывший когда-то в Петербурге черноборский конторщик, но без своего поверенного Шведова, и приехал прямо, а не через Белорецк. Он осматривал поля и леса, побывал уже в Липках у соседних помещиков Суздальцевых и даже приезжал рано утром в Васильевское к священнику, чтобы попросить его отслужить на неделе, в будничный день, обедню в черноборской церкви. Он казался весел, был целый день в движении, со всеми приветлив, но ничего не говорил о том, надолго ли и с какими намерениями он приехал. Все это уже стало известным васильевским людям и волостному старшине, который счел нужным лично доложить Степану Петровичу о приезде Печерина. Новый сосед, естественно, стал постоянным предметом разговора и в семейном кругу Сербиных. Степан Петрович часто упоминал о нем, а Прасковья Семеновна Криленко, которая между тем успела выздороветь, особенно интересовалась всеми касавшимися Печерина подробностями и неутомимо расспрашивала о нем прислугу, до которой могли доходить из Черного Бора новые слухи и толки. Она слышала от своей горничной, что Печерин много занимается, в черноборской библиотеке, разбором книг и бумаг, оставшихся после Северцова; что он

более обстоятельно расспрашивает о прежних временах Бакларовых и Северцова, чем о нынешнем хозяйстве; что он по два раза в день входит в домашнюю часовню, устроенную в память баронессы Вальдбах, и особенно ласков со старым сторожем Кондратием; при нем Кондратий вдруг стал другим человеком, менее угрюм, даже разговорчив. Священник отзывался весьма одобрительно о Печерине и вообще говорил, что вынес из свидания с ним самое приятное впечатление.

Любопытство, с которым в Васильевском ожидалось первое знакомство с приехавшим соседом, постепенно усиливалось под влиянием толков о нем. Прасковья Семеновна каждый день предсказывала его визит и между тем, в надежде на случайную встречу, уговаривала Анну Федоровну предпринять новую поездку в ее любимый бор. Степан Петрович, со своей стороны, не замедлил предложить такую поездку, и на этот раз перед обедом, потому что был канун праздника, а Степан Петрович имел обыкновение бывать непременно у всенощной.

Проезжая мимо черноборской усадьбы, Сербины успели заметить, что она окончательно сбросила с себя прежние признаки запустения. Ворота в ограде были отворены; лугovina перед домом выровнена, трава на ней скошена, а в промежутках между окаймлявшими ее кустами появились цветные гряды; лампадка в часовне ярче светлелась через открытое окно; на крыльце сидели два человека из крестьян, по-

видимому ожидая, что кто-нибудь к ним выйдет из дома, а двое других, пройдя в имевшуюся в ограде боковую калитку, направлялись к крыльцу.

– Меня теперь радует вид этого дома, – сказала Анна Федоровна. – Все ожило вокруг него, и он сам как будто ожил.

– Только на короткое время вся эта жизнь, – отвечал Степан Петрович. – Пока Печерину заблагорассудится здесь погостить, будет одна картина, а когда уедет – другая.

– Быть может, все-таки не прежняя, – заметила Анна Федоровна. – По всему, что о нем слышно, он, кажется, не расположен продавать имения.

– С точки зрения общей пользы, – сказал Степан Петрович, – следовало бы пожелать, чтобы он его продал. Эти налеты отсутствующего хозяина бесплодны. Владелец, который не живет в своем имении, напрасно мешает в нем жить другим.

У въезда в бор Анна Федоровна заметила еще одну перемену. Там разветвлялась дорога. Один путь, более широкий, пролегал вдоль бора, между ним и примыкающим к нему полем; другой вел вовнутрь бора. Близ разветвления стояли, в прежнее время, две скамьи, на которые Сербины имели обыкновение садиться для отдыха после прогулки в бору, любясь открывавшимся оттуда видом на село, на извилины реки, протекавшей по соседним лугам, и на отдаленные холмы, которые с этой стороны волнистой чертою окаймляли горизонт. В прошедшем году скамьи были поломаны,



и Анна Федоровна несколько раз о том выражала сожаление. Теперь другие скамьи были поставлены на прежних местах, и свежие следы произведенной при том работы показывали, что она была выполнена в самом недавнем времени. Анне Федоровне пришло на мысль, что, по крайней мере, этот результат хозяйского налета, о котором упомянул Степан Петрович, во всяком случае, сохранится и после отъезда Печерина; но она не высказала своей мысли, а только указала на новые скамьи и добавила, что на этот раз можно будет, после прогулки, ими, по обыкновению, воспользоваться.

В это время сам Печерин объезжал дальние окраины бора. На возвратном пути он у последней просеки отпустил свои дрожки, намереваясь пешком дойти до села, и по той просеке вышел на дорогу, где стояла коляска Сербиных. Печерин осведомился у кучера, чья четверка, и затем, увидав, что Сербины уже сидели на новых скамьях, направился к ним, рекомендовал себя в качестве нового соседа Степану Петровичу и просил представить его дамам. Таким образом, первое знакомство состоялось неожиданно для обеих сторон. Печерин занял предложенное ему Анной Федоровной место подле нее и сказал, что потому именно приказал восстановить скамьи, что слышал от Суздальцевых, как это ей могло быть приятно. Разговор между новыми знакомыми завязался легко и продолжался без обоюдных усилий. Светский навык снабдил Печерина той сдержанной непринужденностью, при которой первые личные отношения к посто-

ронним делаются незатруднительными. Тот же навык позволял Печерину всматриваться в своих собеседников, незаметно для них, и, не показывая виду, замечать, что в него самого всматриваются. Недоверчивое внимание выразилось в чертах лица Степана Петровича и, напротив того, добродушное расположение читалось на лице Анны Федоровны. В томных взорах и в особенно приветливой улыбке Прасковьи Семеновны можно было предположить свойственное многим женщинам хроническое желание нравиться. Она видимо заботилась о том, чтобы произвести на Печерина приятное впечатление. Одно только лицо, лицо Веры, ничего не высказывало.

Между тем небо хмурилось со стороны бора. Над ним пронеслась передовая струя поднимавшегося ветра; вершины сосен заколебались, и послышался удар далекого грома. Прасковья Семеновна чрезвычайно боялась грозы. Томное выражение ее глаз и улыбка мгновенно исчезли. Она быстро встала со своего места, тревожно оглянулась на небо и стала упрашивать Анну Федоровну поспешить возвращением в Васильевское.

– Рано в нынешнем году начинаются грозы, – заметила Анна Федоровна.

– Нам, впрочем, и без того было пора собраться в обратный путь, – сказал Сербин. – Мы с вами засиделись, Борис Алексеевич. Надеюсь, до скорого свидания. Милости просим к нам.

Печерин проводил Сербиных до их коляски и, подавая руку Вере, чтобы ей пособить подняться, спросил, не будет ли от нее поручений в Липки, к Суздальцевым, которых он на следующий день имел в виду навестить.

– Вы имеете в них преданных друзей, – прибавил Печерин. – Я это заключил из того, что они мне о вас говорили.

– Они очень добры ко мне, – отвечала Вера, – и я прошу им передать мой искренний поклон.

– Охотно исполню ваше поручение, – сказал Печерин, – и надеюсь вскоре привезти вам ответный поклон.

Коляска тронулась. Печерин с полминуты смотрел вслед ей, потом пошел по той же дороге, направляясь к своей усадьбе.

Сначала он шел привычным скорым шагом; но шаг постепенно замедлялся. Разные образы мелькали перед глазами Печерина, и разные мысли сталкивались в его голове. Воображение воспроизводило перед ним и новых знакомых, с которыми он только что расстался, и Черный Бор, где он так недавно поселился, и Петербург, из которого он также недавно выехал. Он думал о том, чем была его жизнь там, чем стала теперь, в деревне, и чем будет в Париже, куда его направляла его судьба.

Назначение Печерина в Париж состоялось, собственно, потому, что он выразил намерение оставить службу, продолжение которой в Петербурге, по личным обстоятельствам, находил для себя неудобным. Но начальство, по-видимому,

ценило Печерина и, с целью его удержать на службе, предложило ему новое назначение за границей. Решившись снова выехать из России, притом, вероятно, на долгое и, во всяком случае, на неопределенное время, Печерин должен был заняться устройством своих дел и между прочим счел нужным посетить свое черноборское имение.

Это имение досталось Печерину неожиданно. У него был старший брат, состоявший на военной службе – ему-то оно и предназначалось отцом; но сам отец был еще в таких годах, что, несмотря на болезненность, побудившую его выйти в отставку, еще надолго мог оставаться владельцем Черного Бора. Между тем старший сын, раненный в последнюю войну, умер в Содене за два года до того времени, когда в Васильевском стали говорить о новом соседе. Отец сошел в могилу через несколько месяцев после сына, и, таким образом, права владения Черным Бором перешли к Борису Печерину. Он еще прошлым летом собирался побывать в имении, но его тогда задержал в Петербурге один из тех эпизодов жизни, в которых слегка затронутое сердце само себя обольщает и чужая воля становится личной волей. На этот раз препятствий не было.

«Почему не приехал я сюда в прошлом году?» – думалось Печерину, пока он шел один по большой проезжей дороге, вслед за давно скрывшейся из виду коляской Сербиных.

«И зачем я теперь еду в Париж? Я, вероятно, не поехал бы, если б побывал здесь прежде. Жизнь меня напрасно учит.

Всякий раз, когда я ее направляю по своей прихоти, мне приходится упрекать себя за то, что я не шел по настоящему пути. Мне путь был указан, и прямо на Черный Бор... Вместо того я безрассудно потратил целый год моей жизни...»

Подходя к усадьбе, Печерин заметил, что гроза минует Черный Бор. Церковь и дом были ярко освещены солнцем, но за ними, по направлению к Васильевскому, легла темно-синяя туча с нависшей над ней седой гривой. Частые молнии бороздили тучу, и раскаты далекого грома сливались в один общий, почти непрерывный гул.

– Что смотришь ты так пристально в ту сторону? – спросил Печерин сторожа Кондратия, стоявшего неподвижно близ церковной ограды.

– Я думал, – отвечал Кондратий, – что не случилось ли беды в Васильевском. Там молния ударила.

– Быть может, и не ударила, а только сверкнула.

– Быть может, беды не причинила, но ударила. Я к ним на веку присмотрелся. Словно стрела слетела. Но не слышать набата. Должно быть, не горит.

Вечером Печерину сказали, что Кондратий не ошибся. Молния действительно ударила в один из двух вязов, стоявших перед Васильевским домом, и в щепы его расколола.

### III

Печерин испытывал в Черном Боре ряд совершенно но-

вых для него ощущений. Вся его прежняя жизнь протекла в столицах или за границей, куда он еще до поступления на службу два раза сопровождал отца. С этой жизнью он свыкся и сроднился. Она была не бездеятельна, не беззаботна, не бедна увлечениями и теми печальями, которые всегда идут по следам увлечений. Она должна была обогатить его, и действительно обогатила, некоторым опытом, помогла сложиться и установиться характеру, дала привычку владеть собой и развила необходимую всякому способность внутреннего наблюдения и анализа. Но при всем разнообразии содержания, обстоятельств и настроений та, прежняя, жизнь постоянно сохраняла одно общее свойство. Она была требовательна, а сама ничего не дарила.

Со времен детства Печерин был в первый раз в деревне, на тридцатом году жизни, и замечал, что как будто в первый раз он себя чувствовал дома и чувствовал свободным. То непрерывное ощущение затаенной или маскированной неволи, которое сопровождает все так называемые светские отношения, прекратилось. Требования завтрашнего дня не ложились тенью на нынешний, и нынешний не напоминал о требованиях вчерашнего. Прекратилось и то, другое, привычное Печерину ощущение вечного, часто мнимого, но тем не менее раздражительного городского недосуга, которое вызывалось теми тенями и напоминаниями. Время как будто вдруг стало шире и более покорно воле. При относительно счастливых условиях, в которые Печерин был по-

ставлен, над ним не тяготела никакая спешная, назойливая, смущающая или огорчающая забота. Он чувствовал с раннего утра до поздней ночи, что дышал свободно, мыслил свободно и свободно делал то, что делал. У него был досуг, но досуг без пустоты. Было дело, но дело без гнета суетливой торопливости. Он был хозяином, но хозяином привольным, которому имущественный достаток позволял, без обременения других, на свои средства, а не на чужой счет, улучшать то, что следовало и было возможно улучшить. Ему представлялись или предлагались разные хозяйственные вопросы, но они его более занимали, чем заботили. Общее впечатление постоянно преобладало над всеми частностями, и не от этих частных зависело общее господствовавшее настроение. Правда, это настроение поддерживалось обаянием весенней природы. Май был на исходе. Вся зелень свежа и местами испещрена цветами. Взгляд охотно останавливался на купах деревьев, на извилинах реки между луговыми берегами и на дальней, темной полосе бора. Печерин чувствовал, что он теперь легко мог быть и добрым, деятельным, и полезным самому себе и другим. Он замечал, что все это чувствовалось и другими, вокруг него.

Черноборский дом до него был несколько запущен. Но каменное здание стародавней постройки, старательно сохранившееся в исправности при Северцове, не могло и после него настолько пострадать от времени, чтобы стать неудобным для жизни. Печерин с первого дня убедился, что даже

можно было бы скоро и без больших затрат привести дом в такой вид, в каком он удовлетворял бы всем потребностям и привычкам жизни не в одно только летнее время.

Еще при первом подробном осмотре дома, на другой день по приезде, Печерина удивило одно обстоятельство, а именно, что одной комнаты не могли ему отпереть. Ему сказали, что ключ у старика Кондратия, а Кондратий зачем-то ушел в Васильевское. При дальнейших расспросах Печерин узнал, что в той запертой комнате находится часовня, устроенная бароном Вальдбахом в память жены; что для содержания этой часовни и особого при ней сторожа им оставлена при церкви довольно крупная сумма денег; он сам определил первым сторожем бывшего у него в услужении бессрочно-отпускного в то время унтер-офицера Кондратия; г-жа Тебенина хотела перевести часовню в церковь, но ее муж этого не позволил, и затем как Северцов, так и полковник Печерин признавали часовню неприкосновенной принадлежностью дома и ни в чем не стесняли Кондратия, который с первого же дня стал хозяином этой часовни, содержал в ней всегда горевшую перед образом лампаду, а ключ от комнаты постоянно носил при себе. Часа через три, пока Печерин осматривал принадлежности усадьбы, ему доложили, что Кондратий явился и ждет в столовой.

Выйдя к нему, Печерин увидел перед собой высокого, немного сутуловатого старика в военной форме, с густыми седыми усами, угрюмым выражением лица и неподвижным



взглядом глаз, над которыми нависли непоседевшие черные брови.

– Здравствуй, Кондратий, – сказал ласково Печерин, подходя к старику. – Я о тебе спрашивал, но тебя не было дома.

– Виноват, – отвечал Кондратий, не сделав никакого движения и прямо смотря в глаза Печерину. – Мне нужно было сходить в Васильевское, версты за четыре отсюда.

– Знаю, – продолжал Печерин. – Но ты ничем и не виноват. Пожалуйста, отопри мне часовню. Ведь ты в ней хозяин. Так это было при моем отце, так должно и при мне быть.

– Когда прикажете?

– Да сейчас; ведь ключ при тебе?

– Всегда при мне, с самого того дня, как барон мне его передал.

Кондратий повернулся и вышел из столовой. За ним последовал Печерин; несмотря на его ласковый привет, угрюмое лицо Кондратия нисколько не прояснилось, и даже в его взгляде было что-то недружелюбное.

Часовня находилась в одной из угловых комнат верхнего этажа дома. К ней вели коридор, а затем две совершенно пустые, никакой мебелью не обставленные комнаты; они принадлежали к части дома, где в прежнее время жили барон и баронесса Вальдбах. Когда Кондратий дошел до запертой выходной двери, он снял с себя небольшой старый кожаный футляр, который носил на груди на ремне, надетом на шею, вынул из футляра ключ, перекрестился, отпер дверь, вошел

в часовню и, остановясь у двери, пропустил мимо себя Печерина.

Стена против входа была убрана иконами, которые некогда принадлежали баронессе. В середине, в киоте из черного дерева с золочеными украшениями, находилась большая икона Казанской Божией Матери с висячей перед ней золоченой серебряной лампадкой. Несколько впереди стояло серебряное паникадило, на котором виднелись следы некогда зажигавшихся на нем свечей. В углу, у противоположной стены, был поставлен аналой с положенной на нем и покрытой обрезком старой серебряной парчи книгой. Стена на стороне входа ничем не была убрана, а на стороне окон, которых в комнате было два, стоял между ними небольшой, оклеенный совершенно поблекшим красным сафьяном письменный стол. Над столом был вделан в простенок черный, серебром оправленный крест, а под ним привешен резной, из дубового дерева гербовой щит, наполовину меньших против креста размеров.

Войдя в комнату, Печерин, в свою очередь, перекрестился, медленно осмотрелся в ней, остановился у письменного стола, взглянул на резной герб и потом обратился к Кондратию с вопросом:

– Как звали по имени покойную баронессу? Кажется, Марией.

– Марьей Михайловной, – отвечал Кондратий.

– Поэтому, вероятно, в среднем киоте и находится образ

Богородицы.

– Должно быть, так. Барон соорудил икону.

– И стол им поставлен у окон?

– Им. Все здесь им устроено, и все осталось так, как он мне оставил и указал хранить.

– Баронесса, говорят, была добрая женщина.

Кондратий смотрел прямо в глаза Печерину и медлил ответом.

– Я так слышал от отца, – добавил Печерин.

– Марья Михайловна была ангел на земле, – глухим голосом проговорил Кондратий. – Она святая была. Бог потому и позволил, чтоб она на земле не осталась.

– Говорят, барон очень любил жену.

– Они жили душа в душу.

– И очень горевал о ней?

– Мы думали, что он не переживет горя и сам помрет.

Но Бог дал силу, и он пережил.

– Жив ли он еще?

– Мы здесь не знаем.

– А она похоронена на кладбище у церкви?

– Здесь, на погосте, рядом с могилой сына. Вокруг могил железная решетка.

– Странно: я был в церкви и прошел вдоль ограды, но решетки не заметил.

– Вы прошли, может быть, по другой стене, ближе к алтарю.

– Целы ли на них надписи?

– Целы. И прежние, и та, которая вделана позже.

– Почему – позже?

– Так случилось, потому что барон позже пожелал того и писал генералу Северцову об этой надписи. Она не по-русски, а на английском языке.

– Почему – на английском?

– Генерал говорил, что она из английской книги взята.

– Проведи меня на ее могилу, Кондратий.

Печерин заметил, что по мере продолжения разговора выражение лица старика становилось менее угрюмым, и участие, с которым Печерин осведомлялся, производило на него выгодное впечатление. На пути к погосту он продолжал расспрашивать Кондратия о жене Вальдбаха, о нем самом и о том, как относились к их памяти его покойный отец и Северцов. Пройдя за церковную ограду, Кондратий повел Печерина вдоль южной стены и, сняв с себя фуражку, остановился не доходя до четырех памятников, которые своим видом отделялись от окрестных могил.

– Впереди, – сказал Кондратий, – покоятся родители Марьи Михайловны, а за ними – и она с сыном.

Выветрившиеся надгробные камни над могилами Бакларова и его жены не имели вокруг себя ограды, и надписи на них наполовину изгладились. Позади их, за решеткой, между прислонившимися к стене церкви кустами акаций и развесистым серебряным тополем, были два, неравной ве-

личины, памятника: небольшая плита из черного мрамора на каменном цоколе и восьмигранный высокий надгробный камень из такого же мрамора и на таком же цоколе. Надпись на лицевой стороне обозначала имя, отчество и фамилию, по браку и по рождению, баронессы Вальдбах. На одной из боковых сторон был обозначен день кончины; на другой значились слова из Послания св. апостола Павла к римлянам: «Ни единого зла за зло воздающе... не себе отмщающе... мне отмщение... глаголет Господь». На последней, четвертой стороне была высечена, по своей явственности, видимо, позднейшая надпись, состоящая из следующих стихов:

Two locks, – and they are wondrous fair, –  
Left me that vision mild;  
The brown is from the mather's hair,  
The blond is from the child.  
And when I see that lock of gold,  
Pale grows the evening red;  
And when the dark lock I behold,  
I wish that I were dead.<sup>1</sup>

Печерин снял шляпу, подойдя к этим двум могилам,

---

<sup>1</sup> Виденье исчезло; – но я сохранил // На память того, что любил, чем я жил, // Две пряди волос; прядь одна, – золотая; // Как ночи крыло, так темна прядь другая. // То сына и матери дар мне святой. // Взгляну ль на златую – свет меркнет дневной. // Когда же на темную прядь я взираю, // Мне жаль, что я жив, и я смерть призываю.

и долго молча в них всматривался. Он в особенности несколько раз мысленно перечитывал английскую надпись. Сердце в нем сжалось, и ему стало искренне и сильно жаль Вальдбаха. Печерин заметил, что у старика были слезы в глазах.

– Тебе жаль их, Кондратий, – сказал Печерин. – И мне жаль: особенно жаль бедного барона.

– Видно, Бог обоих любил, – тихо проговорил старик. – Ее к себе взял. Его опечалил. Бог того печалит, кого любит. Его святая воля.

Печерин невольно подумал при этом о самом себе. Теперь никакое горе его не тяготило. Но что будет дальше? Неужели это неизбежно: если благословение Божие – то и печаль?

Старательный уход за могилами был виден у этих двух памятников. Около них и вдоль окружавшей их решетки зеленелась ровная густая трава, и сквозь траву местами пробивались полевые цветы. Остальное пространство погоста имело тот вид пренебрежения и запустения, который мы привыкли встречать на наших кладбищах.

– Видно, ты заботишься об этих могилах, – сказал Печерин Кондратию. – Мне хотелось бы сделать то же. У меня там, перед домом, насадили цветы. Сходи и нарви, и принеси сюда. А я между тем обойду вокруг церкви.

Кондратий что-то хотел сказать в ответ, но промолчал, повернул к выходу из ограды и ускоренным шагом направился к клумбе, над засадкой которой усердно трудился перед

приездом Печерина старый черноборский садовник.

Печерин обошел вдоль ограды весь погост. На нем местами теснились те деревянные кресты, с острыми и узкими над ними крышами, которые мы одинаково видим на сельских и на загородных петербургских кладбищах. Надгробными камнями с высеченными на них надписями были обозначены две-три могилы лиц купеческого звания. Печерин рассеянным взглядом смотрел на кресты и прочитывал некоторые имена. Воображение постоянно рисовало перед ним мужа и жену Вальдбахов. Их судьба занимала его мысль, и те две надписи прочно врезались в его память. Особенно занимала его надпись из Послания к римлянам – она казалась ему загадочной. Кому и за кого отмщение?.. Кондратий должен был знать об этом. Печерин сел, в раздумье, на ступенях церковного притвора и тщетно старался припомнить, не было ли в рассказах его покойного отца чего-нибудь, что могло бы хотя несколько разъяснить всю эту таинственность.

Между тем Кондратий принес цветы. Сам Печерин старательно уложил их у подножия памятника, с лицевой стороны, и, обратясь к Кондратию, снова заговорил:

– Ты, наверное, больше знаешь о Марии Михайловне и ее муже, чем говоришь. Были у них враги?

– Может, и были, – нерешительно отвечал Кондратий. – Барон мне не указал.

– «Барон не указал», – повторил Печерин. – Это, быть может, значит, что не указал говорить. Мне бы сказать он поз-

волил... Пойдем назад, в часовню, Кондратий. Есть ли у тебя там свечи?

– Есть, – тихо отвечал Кондратий, – простые, мои копеечные. Я иногда ставлю.

Печерин вместе с Кондратием молча дошел до дома, отпустил ожидавшего его на крыльце садовника и прямо пошел в часовню.

В Печерине жило внутреннее, несколько смутное, но способное к душевной теплоте чувство, унаследованное от рано умершей матери и от отца, хотя в покойном это чувство проявлялось, среди водоворота светской и служебной жизни, менее явственно и менее постоянно. Печерин сам жил такой жизнью, и потому обычный круг его озабоченности, помыслов и занятий редко соприкасался с той затаенной в душе искрой, которая, однако же, могла по временам разгораться, светлеть в уме и согревать сердце. Такая минута внутренне-го озарения и теплоты настала для него теперь. Он не давал себе отчета в том, что им ощущалось; он не произносил никакой уставной молитвы. Но он смотрел на икону, думал о жене Вальдбаха, о неутешной печали ее мужа, чувствовал, что он почему-то сам теперь страдал за них, и чувствовал, что теперь пред ним и над ним, как тогда над ними, было то неисповедимое, непостижимое, незримое, перед чем мы склоняем голову с ощущением благоговейного страха.

Когда Печерин оглянулся, он увидел, что за ним, у стены, стоял на коленях и плакал Кондратий, наклонив голову по-



что До земли и то одной рукой, то другой утирая слезы, струившиеся из его глаз. Он как будто не заметил, что Печерин подходил к нему; но когда Печерин тихо положил ему руку на плечо, он схватил эту руку и поцеловал ее.

– Что делаешь ты, Кондратий? – сказал Печерин, быстрым движением высвободив свою руку.

– Если бы Марья Михайловна и барон были здесь, – сказал Кондратий, вставая, – они приказали бы мне поцеловать вашу руку. Я двадцать пять лет делаю, что они мне приказали, и когда в чем-либо усомнюсь, то стараюсь придумать, что бы они могли приказать.

Лицо старика совершенно изменилось. Вместо прежней угрюмой сосредоточенности на нем выделась печаль; но, рядом с выражением этой печали, оно приняло и какое-то особое, почти торжественное выражение, которое поразило Печерина.

– Ваше высокоблагородие, Борис Алексеевич! – вдруг сказал Кондратий. – Вам я все поведаю. Были враги, были злодеи... извели Марью Михайловну... ее отравили... и сына отравили...

– Что ты?! – воскликнул Печерин.

– Оно так было, Борис Алексеевич. И кто извел?! Кто отравил?! Сестра извела! Сестра отравила!

– Сестра! – повторил Печерин с возрастающим ужасом.

– Родная сестра, Тебенина. Ей нужен был Черный Бор. Она всегда завидовала, всегда ненавидела сестру. Она отра-

вила. А Марья Михайловна, умирая, запретила мстить. Она только перед своей смертью убедилась, что и сын был отравлен. Она заклинала барона не мстить. Он обещал и сдержал, что обещал.

Кондратий взял с аналоя лежавшую на нем под парчой книгу и подал ее Печерину. То был молитвенник Марии Михайловны, и на первой странице было ее рукой написано то самое изречение апостола Павла, которое помещено и на памятнике над ее могилой.

– Барон не захотел взять с собой этого молитвенника, – продолжал Кондратий. – Он взял другой, а этот мне приказал хранить в часовне.

Печерин молча всматривался в написанные покойной строки. Чернила выцвели; буквы казались бледно-бурыми; но тонкий и правильный почерк остался виден.

– И она мстить запретила! – сказал как бы про себя Печерин.

– Господь отомстил, – сказал на это Кондратий. – Все дети Тебениных вымерли. Марья Михайловна скончалась накануне Петрова дня. Через год после того, в Петровский пост, умер у Тебениных старший сын. И затем, из года в год, как Петровки – так у них смерть. И новые дети рождались, но жить Господь не давал. Наконец, Его рука вымела их отсюда. Они распродали имения и куда-то переселились.

Между тем Кондратий уже не нуждался в расспросах для продолжения своих откровений. С него был снят зарок

молчания, и он передавал Печерину, с краткими перерывами, то одно, то другое из теснившихся в нем всякого рода воспоминаний и легенд.

– Марью Михайловну предостерегали, – прибавил Кондратий, – но она не верила. Старуха Аксинья долго пророчила беду. У нас была такая старуха, ваше высокоблагородие, про которую разное говорили. Она только в церковь ходила и никому зла не делала; но люди думали, что она колдовала. Она не раз правду предсказывала. Когда после смерти сенатора сюда впервые приехала Тебенина, Аксинья всех спрашивала, видели ли, как коршун прилетел и сел на крышу господского дома. И после того, как ни приедет Тебенина, Аксинья опять про коршуна заговорит. Она же рассказывала, что видела на погосте, два раза, в лунные ночи, раз осенью и раз зимой, как покойница Марья Михайловна стояла между деревом и кустами, над могилою сына и, наклонив голову, как будто читала надпись на плите. Она вся в белом была и в цветах, как в гроб была положена, и вдруг скрылась. Только как будто белое облачко поднялось с погоста к небу. Я раз двадцать сам ходил ночью на погост, все надеясь, что она и мне явится; но ждал напрасно, и напрасно молился Пресвятой Богородице, перед этой иконой, о том, чтобы я сподобился такого видения. Мне, грешному, она не показалась, и, кроме Аксиньи да еще другой женщины, Василисы из Васильевского, никто такого видения не имел. Но Василисе Марья Михайловна представилась иначе. Лет пятнадцать тому

назад Василиса еще жила здесь, у тещи садовника, которая в то время была в живых; Василиса оставалась в Черном Боре со времени смерти Марьи Михайловны, и пока Тебенины были в Васильевском, она не хотела и ходить туда. Только недавно, лет пять или шесть, она вернулась к родным, которые там у нее были. Случилось, что в Покров день, день рождения Марьи Михайловны, Василиса долго молилась на ее могиле и весь день ни о чем не думала, как только о ней. Ночью, как она мне рассказывала, ей сон не давался. Пришло ей на мысль пройти к церковной ограде и через ограду еще раз взглянуть на могилу. И тогда был полный месяц, и светло было на дворе. Но Василиса и не дошла до того места, откуда видна могила. Как только она стала переходить через дорогу, она увидела, что покойница Марья Михайловна сама стоит у ограды, против притвора церкви, между кустов сирени, которые там растут. Она также была вся в белом, как прежде явилась Аксинье, и тихо кивнула головой Василисе. Василиса вскрикнула, обомлела и далее ничего не помнит. Как я ни расспрашивал, она ничего сказать не могла.

– Кто такая Василиса? – сказал Печерин.

– Старая женщина, которая была в нянях у нашего маленького барона и оставалась при Марье Михайловне до ее смерти, а потом и при бароне, до его выезда отсюда. Добрая старуха. Я ее тридцать лет знаю. Она сама слышала, как покойница заклинала барона не мстить...

– Так и Василиса знает о злодеях?

– Знает. Мы двое знаем.

– И она молчала?

– Молчит. На нас обоих один зарок наложен. Я одного не досказал вам, Борис Алексеевич. Барон с тех пор был однажды здесь и зарок не снял.

– Как? – с изумлением спросил Печерин. – Был здесь? Когда? Ты же сам говорил, что вы о нем ничего не знаете.

– Мы и не знаем, жив ли он теперь и где, или не жив. То было, впрочем, очень давно, еще при Северцове. То было, как теперь помню, в сентябре. Ко мне пришел какой-то отставной солдат, не здешний, и сказал, что меня желает видеть старый знакомый, проезжий, и что мне следовало дожидаться вечером, в одиннадцатом часу, у церковной ограды. Я стал расспрашивать, кто и как, но солдат ничего сказать мне не мог, кроме того, что ему приказано мне назвать одно имя: Марья Михайловна. Как он только сказал это, я невольно вздрогнул и понял. Я дождался барона и почти не узнал его. Он так переменился. Я был с ним на погосте и провел его потом темной задней лестницей в часовню. Когда-нибудь я вам о том расскажу подробнее, если вы спросите. Теперь силы нет. Не могу. Горло захватывает.

Видимое волнение и дрожащий голос старика сильно трогали Печерина. Он с минуту помолчал, потом спросил:

– Неужели Северцов не знал о том, что здесь случилось с баронессой и бароном?

– Может, и знал кое-что. Кажется, что если не знал по-

рядком, то догадывался, и до него слухи доходили. Он был добрый человек и почитал часовню; но никогда меня не спрашивал, как вы. Да и мы сами не сразу додумались, и сначала хотя и странно казалось, что Марья Михайловна запрещала мстить, но не верилось, что родная сестра была таким злодеем. Только потом, как все стали припоминать, да и барон перед отъездом прямо заказал молчать, то и сомневаться перестали. Насчет генерала вы, впрочем, могли бы посмотреть в библиотеке, не оставил ли он там какого следа о том, что знал. В шкафе у окна есть ящик с какими-то бумагами. Ваш покойный батюшка, когда бывал здесь, все собирался их разобрать, но, кажется, так до конца только собирался, но не разобрал...

Между тем люди в доме удивлялись, что Печерин так долго не выходит из часовни. Наконец, его камердинер решился доложить ему, что его ждут волостной старшина и конторщик.

– Сейчас буду, – отвечал Печерин. Потом, обратясь к Кондратию, сказал:

– Спасибо, Кондратий; а где, говоришь ты, бумаги генерала?

– В первом шкафе, у первого с правой стороны окна.

В этот день Печерин не удосужился предпринять поиски в библиотеке. Но в следующий вечер, покончив со всеми разъездами по своим новым для него владениям, он без труда нашел ящик, о котором упоминал Кондратий, а по номеру

над замком нашел и ключ к ящику в связке разных ключей, хранившихся в старом бюро, в бывшей спальне Северцова. В ящике были сложены, в пачках и конвертах разных величин, частью с надписями, частью без надписей, семейная переписка, другие письма от разных лиц, некоторые денежные счета и отрывки из дневника, веденного Северцовым, по-видимому, в венгерскую кампанию. В большой пачке, надписанной: «По Черному Бору», Печерин нашел разные справки, относившиеся до времени покупки имения, и между ними особый запечатанный конверт с отметкой: «Письмо барона Вальдбаха». Наконец, в этом же конверте оказались, кроме того письма Вальдбаха, где он просил о дополнительной надписи на памятнике баронессы, и кроме копии с ответа на это письмо, два отдельных листка почтовой бумаги. На первом были занесены отрывочные заметки о слухах, ходивших насчет смерти жены Вальдбаха, и даже о бывших будто бы на черноторском кладбище видениях. На втором, под краткой справкой о составе Васильевского имения, было рукой Северцова написано:

«Мне сегодня говорил священник, что никто из крестьян не верит, что я куплю Васильевское. Какая-то у них пророчица, по имени Аксинья, будто имела видение во сне, и в этом видении покойный Бакларов ей поведал, что Васильевское и Черный Бор не сойдутся вновь до тех пор, пока не высохнут два вяза перед Васильевским домом. Я их видел. Они молоды, и им сохнуть рано».

## IV

Хотя Печерин объявил Вере Сербиной, что на следующий день он собирается навестить Суздальцевых, но после разразившейся над Васильевским грозы и так близко к дому ударившей молнии он счел необходимым сперва заехать к Сербиным и уже из Васильевского продолжать путь другой дорогой.

Степан Петрович был в поле, и Анна Федоровна принимала Печерина. В гостиной он встретил Веру, которая, слегка покраснев, сказала, что мать сейчас выйдет и поручила ей быть хозяйкой и благодарить соседа за скорое посещение.

– Я слышал, что вчера вы были близки от беды, – заметил Печерин. – Я видел расколотое молнией дерево. Все это должно было сильно испугать вас.

– Мы были просто оглушены, – отвечала Вера, – и в первое мгновение, конечно, думали, что молния ударила в дом. Мы всего минут за десять пред тем успели вернуться из вашего бора и были у мамá в кабинете, откуда дерево видно.

– Та дама, которая с вами была вчера, кажется, особенно боится грозы.

– По счастью, ее с нами уже не было, – сухо сказала Вера. – Она живет в другом доме, за нашим садом.

В эту минуту Анна Федоровна вошла в гостиную. Она ласково протянула руку Печерину и повторила уже переданное



Верой выражение признательности за посещение.

– Вы, кажется, хотели быть сегодня в Липках, у Суздальцевых? – продолжала Анна Федоровна. – Мы с ними, к сожалению, редко видимся, но я всегда рада видеть их.

– Я отсюда к ним еду, но хотел прежде о вас осведомиться, после вчерашней грозы.

– Благодарю вас. Обошлось довольно благополучно. Жаль только бедного дерева, на которое я любовалась из окна. Половина уцелела, но и она, вероятно, высохнет; муж мой уже сегодня приказал замазать открытую часть сердцевины. Не пройдем ли в мой кабинет? – продолжала Анна Федоровна, обращаясь к дочери: – *Dort ist es gemüthlicher...* Вы, конечно, говорите по-немецки?

– С детства, и, кроме того, я долго был в Германии.

– Мы с Верой часто ведем разговор по-немецки, когда мы вдвоем, – сказала Анна Федоровна. – Без того я, пожалуй, разучилась бы говорить.

– Здесь, вероятно, мало практики для того, – заметил Печерин.

– Никакой. Вы, я вижу, всматриваетесь в мою любимую картину, Борис Алексеевич. Узнаете город?

– Конечно, узнаю. Одного купола Фрауэнкирхе для того достаточно. Мне Дрезден всегда нравился, в нем – всего более Фрауэнкирхе, а в ней – ее каменный купол.

– Очень рада слышать это! Дрезден – моя родина, и мы принадлежали к приходу Фрауэнкирхе.

– Давно вы не были в Дрездене, Анна Федоровна? – спросил Печерин.

Лицо госпожи Сербиной приняло грустное выражение, и она тихо ответила:

– Очень давно, в ранней молодости, до моего замужества. Мои родители потом переселились на время в Одессу, и с тех пор я за границу не выезжала.

– Многое с тех пор изменилось в Дрездене, – сказал Печерин, – разрослись новые кварталы; но с той стороны, с какой город представлен на вашей картине, вид прежний: та же Эльба, та же терраса, тот же купол Фрауэнкирхе, а вправо – те же собор и дворец.

– Мне нет дела до нового Дрездена, – отвечала Анна Федоровна. – Мне дорог и всегда памятен только прежний. Когда я у себя одна в кабинете, я часто засматриваюсь на этот вид, и тогда мне кажется, что я еще молода, и живу там, и отца и мать еще могу увидеть...

– И у меня, – сказал Печерин, – есть рисунок, в который я иногда всматриваюсь с особым чувством. Это вид кабинета моей покойной матери. Она сидит в креслах, держит книгу в руках, но не читает, опустила книгу на колени и как будто на меня смотрит. Тогда и мне кажется, что она еще жива, и я мог бы заговорить с нею. Потом я печально сознаю, что мечта неосуществима. Прошлое навсегда прошло. Помните ли вы, Анна Федоровна, стих Шиллера:

Ewig still steht die Vergangenheit!..

– Помню и далее:

Keine Reu, kein Zauberer  
Kann die Stehende bewegen...

– К сожалению, я этот рисунок оставил дома, в Петербурге, думая, что здесь недолго пробуду. – Впрочем, я напрасно сказал «дома». Я нигде не дома. Бог дал мне неожиданно кров в Черном Боре, но я легкомысленно не оценил вовремя этого дара, и теперь, сам не зная зачем, должен ехать в Париж.

– И надолго?

– Опять должен сказать, что сам не знаю. Во всяком случае, еду неохотно. Проездом буду в Дрездене, где хочу навещать близкого мне друга, брата Марии Ивановны Суздальцевой. Передам от вас поклон Фрауэнкирхе, если вы мне это поручите.

– Сердечно вам буду благодарна.

Затем разговор снова обратился к Дрездену, его окрестностям и вообще к характеристическим чертам средней Германии, о которой Печерин сказал, что она ему симпатичнее, чем все другие части Европы, какие ему только знакомы.

Анна Федоровна с видимым участием его слушала, и когда Печерин встал, чтобы проститься, она с такой же искренностью выразила ему сожаление, что он ненадолго будет Ва-

сильевским соседом. Вера все это время молчала и, только прощаясь, заметила Печерину, что он доставил ее матери большое удовольствие, говоря о Дрездене и Германии; Анна Федоровна долго будет помнить этот разговор.

– Вера меня хорошо знает, – сказала госпожа Сербина и нежно обняла дочь. – Она привыкла на моем лице читать мои мысли...

Выйдя из дома, Печерин взглянул на разбитый вяз. Капризное действие молнии и на этот раз было заметно: вершина расщеплена, часть ствола отколота, но другая часть и две сильные нижние ветви уцелели.

«Он все-таки высохнет», – подумал Печерин, вспоминая найденную им заметку Северцова.

Суздальцевы были давнишние знакомые Печерина по Петербургу, хотя с ним редко виделись. Они мало выезжали в так называемый свет и проводили в деревне лучшую половину года. Николай Петрович Суздальцев сам управлял имением, хорошо знал всю местность и пользовался добрым расположением как большинства соседних помещиков, так и крестьян; его достатки позволяли ему оказывать им разные пособия и льготы. Его жена, Мария Ивановна Суздальцева, слыла в околотке опытным медиком, и уездный врач уверял ее, что она отбивает у него практику. Когда Печерин приехал в Липки, он и в этот день застал на крыльце двух-трех женщин, которых Мария Ивановна снабжала ле-

карствами и наставлениями.

После обеда Печерин рассказал Суздальцевым, как он накануне познакомился с Сербиным и, по случаю бывшей грозы, уже навестил их в Васильевском. Потом он вдруг спросил: – Что это за человек, Сербин?

– Это человек с образованием и толком, – отвечал Суздальцев, – но человек партии и пользуется здесь значением именно как человек партии. Он из так называемых народников.

– Но вы не из их числа. Как же вы с ним ладите?

– Десять верст расстояния помогают; мы не часто видимся, а когда видимся, я избегаю разговоров на неудобные темы.

– А на крестьян имеет ли он влияние?

– Мало. Я вообще не замечал, чтобы записные народники влияли на народ. Врожденный здравый смысл предохраняет простолюдина от того. Он чует напускное и потому нелегко поддается. Сбивать с толку можно, вести – нельзя. Сербин, конечно, старается приобрести влияние и стать вожаком; он и стал вожаком между многими в городе, и даже в губернии, благодаря своим проискам в земских собраниях; но крестьяне ему не доверяют. В нем нет радушия и теплоты. Кроме того, они замечают, что он не прочь и покривить душой. Если у кого-нибудь из соседних крестьян есть неправо дело или явно неосновательная жалоба, то он не пойдет ко мне, а обратится к Сербину, и Сербин всегда примет

на себя роль заступника мнимо обиженных, лишь бы только не иметь дела с помещиком Пичугиным, который одного с ним лагеря. Пичугин в его глазах всегда прав; но если крестьянин имеет дело с неприятным ему человеком или с казной, то казна или помещик всегда неправы.

– На меня произвела очень приятное впечатление г-жа Сербина. Ее дочь также мне очень понравилась. Она не красавица, но мила, и притом без всякой аффектации.

– Они и должны были произвести на вас такое впечатление, – сказала Мария Ивановна. – Вера – добрая и милая девушка, притом очень умная, хотя не словоохотлива и редко высказывается. Анна Федоровна – добродетельнейшая женщина. Она до того добра и кротка, что при ней и ее муж становится как-то мягче.

– Она не соперник вам по медицине? – спросил, улыбаясь, Печерин.

– Нет. Вообще, в Васильевское люди ходят неохотно, как они говорят: на большой двор.

– Как мог такой «народник» жениться на иностранке? При самом первом разговоре с ней я мог заметить, что любовь к прежней родине в ней жива, и немецкая образованность сохранилась при полном в других отношениях обрушении.

– И это вами верно подмечено, – сказал Суздальцев. – Анна Федоровна стала вполне русской в том смысле, в каком мы с вами как-то раз оба желали быть русскими. У меня

есть на то своя примета. Кто любит русского простолюдина, не тронутого порчей, – тот непременно русский. А она полюбила наш народ, даже усвоила себе все наши обычаи, бывает и молится в церкви, как будто бы она не была лютеранкой, – и рядом с этим ничего не утратила из доброго и просвещенного, чем наградила ее Германия. Но она никогда не говорит о своей родине при муже. Он отбил у нее всякую к тому охоту своими постоянными нападками на все, что он называет «западной гнилью».

– А кто та дама, которая живет у Сербиных? – спросил далее Печерин. – Имя я забыл, но вчера и с ней познакомился. Она мне показалась какой-то приживалкой.

– Она родственница Сербина, – отвечал Суздальцев, – вдова Криленко. Личность несимпатичная. Говорят, что она приобрела на Сербина большое влияние; но больше того я о ней ничего сказать не могу.

– Между тем, знаете ли вы, Борис Алексеевич, кто, говорят, на вас приобретает влияние? – сказала г-жа Суздальцева.

– Не знаю, но догадываюсь, – смеясь, отвечал Печерин, – вероятно, сторож Кондратий.

– Именно так. Ваш приезд – событие в нашей тихой местности, и вы, конечно, уверены в том, что на все ваши *faits et gestes* обращено внимание. Говорят, что в Черном Боре никто к вам так не близок, как старик Кондратий.

– Он действительно возбудил во мне большое к нему

участие глубокой и неизменной его преданностью памяти Вальдбахов. А эта память сильно заняла и мое воображение. Когда я вижу Кондратия, то всегда думаю о баронессе и ее муже. Они составляют черноторскую легенду и поэтическую легенду. Для Кондратия целая четверть века прошла мимо бесследно. Он живет тем чувством и думает теми мыслями, какими жил и думал двадцать пять лет тому назад и двадцать пять лет продолжал жить и думать.

– Вы сами, видимо, одушевляетесь, говоря о нем, – сказала, улыбаясь, Мария Ивановна. – Впрочем, я не раз слышала от моего брата, что вы крайне впечатлительны, и ваша светская жизнь этой впечатлительности не уменьшила.

– «Светская жизнь!» – повторил Печерин. – «Светская жизнь»! Вы сами знаете, Мария Ивановна, что она не стоит труда, который на нее тратится. Если бы не слабость характера, я бы ей не поддавался. Но в ней есть какой-то чад, который незаметно туманит понятия и берет волю в плен. Нужен укол сердца, чтобы пробудиться. Припоминаю, что одна почтенная пожилая дама, которая была дружна с моей покойной матерью, мне однажды сказала, что уколы сердца имеют таинственное призвание в нашей жизни.

– Ты навела Печерина на одну из его любимых тем, Мэри, – сказал Суздальцев. – Он всегда становится словоохотлив, как скоро только начинает философствовать о пустоте светской жизни. Теперь это особенно кстати, на пути в Париж.



Но слово «Париж» дало беседе совсем другой оборот...

Когда Печерин потом вернулся в Черный Бор, он заметил у подъезда поджидавшего его Кондратия.

– Ты меня, что ли, ждешь? – спросил Печерин.

– Так точно, – отвечал Кондратий и прибавил, понизив голос: – Нужно вам два слова сказать.

– Обожди меня в столовой.

Когда Печерин вышел в столовую и спросил, что случилось, Кондратий отвечал, что на днях он отозвался незнанием: жив ли еще барон Вальдбах? – но забыл тогда добавить, что есть человек, который, может быть, о том знает.

– Сегодня, – продолжал Кондратий, – здесь был старый доктор Францен, который пользовался доверием Марьи Михайловна и барона, и по временам, по крайней мере, раз в год, он и теперь бывает проездом в Черном Боре и всегда посещает часовню и могилы. Сегодня он не пошел в часовню, но был на кладбище и меня долго расспрашивал о вас и о том, что вы мне приказывали насчет могил и часовни.

– Кто этот доктор? Здешний? И был ли он доктором у барона?

– Нет, он жил, как и теперь живет, в соседнем уезде; но приезжал изредка. За ним барон посылал перед смертью Марьи Михайловны, но ее уже не было в живых, когда он приехал. Он остался после совсем при бароне, который его назначил своим поверенным по делам имения.

– Где же живет этот доктор?

– У него своя дача под Крайгородом, верст за шестьдесят отсюда; но теперь его дома не найдете. Он был здесь проездом и сказал мне, что пробудет около двух месяцев в Москве.

– «Два месяца», – повторил Печерин и отпустил Кондратия, сказав ему «спасибо» за то, что вспомнил о докторе.

## V

Вера сидела одна в своей комнате. Перед ней лежала на столе раскрытая книга; она давно перестала читать и задумчиво смотрела в открытое окно. Окно было в сторону сада. Ветви соседнего ясеня качались над рамкой окна; под ними виднелась полоса темной зелени липовой аллеи, удалявшейся от дома в глубь сада, а сквозь ветви ясеня и между ними и полосой лип сияло июньское безоблачное ярко-голубое небо. Щebetанье птичек слышалось в окно. Все было так тихо в саду, что щebetанье раздавалось одно, и все так светло, что тени сливались в массах листвы с золотистым отблеском солнечных лучей.

Сельская тишь до того непривычна жителям городов, что и на тех, кто бывал или даже более или менее периодически бывает в деревне, она производит на первых порах почти тревожное впечатление. В городе люди так привыкают к глухому и непрерывному гулу происходящего вокруг них движения, так способны родниться с постоянным гнетом обыденной городской суеты, что, когда прекращается этот гул,

им кажется, будто у них что-то отняли, будто вдруг стало пусто около них, время изменило свой ход, и часовой маятник, его видимый представитель и неумолчный глашатай, медленнее движется и реже окликает, чем прежде двигался и окликал. Привычным деревенским жителям эти ощущения чужды, но и в них сельская тишина иногда производит особое внутреннее настроение. Если на душе беспокойно и тяжелые мысли волнуют ум, то среди мирно-молчаливой сельской природы всякая внутренняя тревога как будто слышнее нам, и она беспрепятственнее овладевает нами. Сердце сильнее ущемляется, и разлад между тем, что мы вокруг себя видим, и тем, что в себе ощущаем, обостряет такую боль.

То же раздумье, которое недавно тяготело над Верой, когда она срывала маргаритки в саду после встречи с отцом, теперь брало верх в ее мыслях в связи с воспоминанием о Черном Боре. Вера заметила, что вопрос о том, решится ли или не решится Печерин продать это имение, заботил Степана Петровича и что Прасковья Семеновна часто и обстоятельно осведомлялась о разных относившихся до Черного Бора подробностях. «Что значит, – думалось Вере, – эта озабоченность и такие осведомления?» И тогда сам Печерин приходил ей на память. Судя по впечатлению, произведенному им при первой встрече, и по всему, что о нем рассказывалось со времени его приезда, он вовсе не помышлял о продаже. Справедливо было то, что он приехал на короткое

время и должен был, наоборот, на долгое время отлучиться за границу; но из этого нисколько еще не следовало, чтобы он спешил навсегда отказаться от возвращения в Черный Бор. В немногих его словах высказывалось даже некоторое сожаление о необходимости предстоящего отъезда. Вера припоминала его слова и вспомнила о подмеченном ею различии между Печериным и молодыми людьми, которых она видела в Белорецке. Один Суздальцев несколько походил на него; но Суздальцев уже был старым знакомым, и установление добрых и доверчивых между ним и Верой отношений было облечено и упрочено ее отношениями к Марии Ивановне Суздальцевой: она с первой встречи оказала Вере самое любезное внимание и впоследствии неизменно продолжала его оказывать. Жизнь так сложилась для Веры, что она по отношению только к матери и к Суздальцевым питала то чувство, которое Анна Федоровна называла «родством по духу»: *Geistes Verwandtschaft*. Та же самая родственная стихия ей как-то чуялась в Печерине, и она невольно призадумывалась над этим инстинктивным, с первых слов охватившим ее ощущением. Почему была она так уверена в том, что по общему складу понятий, мнений и чувств Печерин стоял ближе к ней, к ее матери и к Суздальцевым, чем ко всем другим, кого она знала, в том числе и к ее отцу? Она себе того не объясняла, но продолжала верить. Одно только этому несколько противоречило. Вере казалось, что Прасковья Семеновна Криленко не производила на Печерина неприятного впечат-

ления. Он при первой встрече был с ней и с Верой одинаково приветлив. Впоследствии Вера и Печерин несколько раз виделись, и он продолжал быть с ней приветливым и к ней внимательным; но ничто не обозначало, чтобы он начал так думать о ней, как она думала о нем. Она только замечала, что в его взгляде, когда он смотрел на нее, было что-то сосредоточенное, пытлиное, как будто бы он разгадывал или старался разгадать ее мысли.

Вошедшая горничная прервала размышления Веры.

– Я была у Василисы Дмитриевны, – сказала горничная. – Ей лучше, и она встала с постели; но тоскует по вас. Она говорит, что вы ее уже третий день не навещаете, а ей почему-то нужно было бы вас увидеть.

– Да, я все как-то не успевала к ней зайти.

– У нее был утром старик Кондратий из Черного Бора; он торопился домой. Они говорили о Сизой деревне, и Василиса Дмитриевна очень тревожится.

– Опять!.. – сказала Вера. – Хорошо, я зайду к ней перед обедом.

Василиса, женщина преклонных лет, и притом болезненная, не занимала в Васильевском никакой должности по хозяйству. Она приютилась, еще до покупки имения Сербиным, у брата, бывшего ключником при господском амбаре. Брат умер; но прежний владелец оставил за Василисой комнату, которую она занимала в одном из жилых строений при оранжереях, и назначил ей месячные харчи, му-

кой и крупой, в виде постоянного пособия. Сербин не отменил этих распоряжений, а Анна Федоровна оказала одинокой старухе еще теплое участие и приняла ее под свое личное попечительство. Василиса придерживалась, как говорили люди, «старой веры», но ходила в церковь, пользовалась расположением отца Пимена, местного священника, и вообще слыла безукоризненно честной и доброй женщиной. Все знали, что она в прежние годы в Черном Боре заслужила особое доверие жены Вальдбаха, и после того Северцов ей также оказывал внимание. Анна Федоровна скоро сама полюбила ее, часто навещала вместе с Верой и поручала ей надзор за порядком в господском доме, когда во время зимы Сербины брали с собой в Белорецк почти всю свою прислугу. Судя по сохранившемуся у старухи акварельному портрету, несмотря на его совершенно поблекшие краски, между чертами лица покойной и лицом Веры можно было находить некоторое сходство.

В небольшой комнате, где жила Василиса, всегда бросались в глаза примерные порядок и опрятность. Вся скромная утварь неизменно занимала одни и те же места. Так называемый красный угол был убран старописными иконами и перед ними на деревянной угловой полке была поставлена зажженная стеклянная лампадка. На противооконной стене, у изголовья кровати, висели старинный медный образок и под ним – портрет баронессы Вальдбах. У окна, перед столиком, на котором лежали молитвенник и бумажное вязанье,

обычное занятие Василисы, стояло старое кресло, которое Анна Федоровна ей подарила, и в этом кресле она сидела, опустив глаза, наклонив голову и шепотом произнося слова какой-то молитвы, когда Вера осторожно отворила дверь и вошла в комнату.

Старуха засуетилась, завидя Веру, хотела встать, но Вера бережно взяла ее за плечи, вновь усадила в кресле, осведомилась о ее здоровье и, придвигая для себя стоявший у стены стул, сказала:

– Мне все эти дни никак не удавалось навестить тебя; но я слышала от Наташи, что ты желала меня видеть. Что случилось у вас опять в Сизой деревне?

– Беда, матушка Вера Степановна, – отвечала Василиса, – опять беда, а на этот раз, если вы не спасете, то, видно, и от Бога не будет спасения. Приспел конец нашей молельне. Приказ отдан ее разломать или, по крайней мере, закрыть, и все, что у нас там есть, от нас отобрать.

– Какой приказ? Кто приказал?

– Вестимо, начальство приказало. Какое начальство, я и сама не знаю. Начальников много. Одни говорят: губернатор предписал; другие – что архиерей приказал, и его исправник не смеет ослушаться. И кто-то от суда должен быть, и понятых соберут. На завтра, кажется, вся эта гроза заказана и на нас нагрянет. Меня так и сразила эта весть. Сегодня утром, благодаря Богу, я было совсем оправилась и встала бодро, и солнцу так порадовалась, и думала в садик выйти;

а теперь ноги подкосились, даже встать сразу не могла, когда вы вошли...

– Может быть, это слух какой-нибудь до тебя дошел, а никакого приказания не было, и ты напрасно встревожилась?

– Не напрасно, матушка Вера Степановна. Слух верный. Нам добрые люди дали знать из Алексеевского, и Кондратию в Черный Бор дали знать; он сегодня приходил ко мне.

– Не может быть, однако же, чтобы отец Пимен на вас приносил жалобу.

– Отец Пимен здесь ни при чем, Вера Степановна. Отец Пимен – добрый священник. Он – настоящий христианин и никого не гонит за то, кто по-своему во Христа верит и молится. Это все от Никольского благочинного, отца Акинфия, происходит. Он нас преследует; он и на отца Пимена доносил, будто он нам поблажку оказывает. Отец Акинфий перед своим начальством себя хочет показать. Он-де видит, а отец Пимен не видит.

– Что же я могу сделать для вас? – спросила Вера после минутного молчания.

– Вы сами ничего не можете, я это знаю, – отвечала Василиса, – но Степан Петрович может пособить. Он раз уже помог нам, потому что вы его попросили. Он вам не откажет.

– Он и тогда сказал, что это трудно было, и он в такие дела не вступается. Во второй раз он откажет.

– Тогда мы погибнем. Вера Степановна, сделайте божескую милость. Попросите! Я вам сейчас в ноги поклонюсь. –



И старуха попыталась встать, чтобы поклониться, и отодвинула стол. Вера ее остановила.

– Что ты делаешь, Василиса? – сказала она. – Богу подобает кланяться, а не мне.

– Я и положила три земных поклона Господу, – сказала Василиса, – на четвертый сил не хватило. Бог простит слабость. Но как и вам не кланяться? Вы и ваша матушка, Его же ради, нам помогали и обо мне, бедной старухе, заботитесь. И теперь я вас же прошу. Не откажите и помогите!

Вера снова замолчала и призадумалась; потом сказала:

– Если дело в руках губернатора, папá, может быть, и согласится попросить за вас. В тот раз так было. Но если, как тебе говорили, есть приказание от архиерея, то папá непременно откажет. Он и тогда так отзывался.

– Не знаю наверное, матушка Вера Степановна, от кого приказ. Людей не поймешь. Говорят разное. Но вы все-таки попросите, а там уже – как Бог велит.

– Изволь, попрошу, – сказала Вера.

Спустя несколько минут она была уже у двери кабинета Степана Петровича, на одно мгновение остановилась, подумала, потом вошла в кабинет.

– Я к вам с просьбой, папá, – сказала Вера.

Степан Петрович был не в духе. Он не улыбнулся приветливо, по обыкновению, когда видел дочь, и сухо сказал:

– Приказывай. За кого сегодня просьба? Ты давно ни за кого не просила.

– Я заходила к Василисе, папá... .

Лицо Степана Петровича еще более нахмурилось.

– Опять Василиса! – сказал он. – Эта старая раскольница мне крепко надоела... .

– Не сердитесь, папá, – продолжала Вера, поцеловав руку отца. – Василиса не раскольница. Она с нами ходит в церковь. У нее только есть родные между раскольниками. Вы сами теперь сказали, что я давно ни о чем не просила. А Василиса никогда за себя не просит.

– Не о чем ей и просить. Она живет у меня на хлебах... .  
Мама́ и ты о ней заботитесь. В чем же дело?

Вера передала то, что слышала от Василисы, не упомянув только о ее отзыве насчет отца Пимена и благочинного из села Никольского.

– Я тебе уже говорил, Вера, – с видимой досадой сказал Сербин, – что мне в это дело неудобно вмешиваться. Я не имею на то никакого права, да и расположения к тому у меня нет. Нам следует подавать пример уважения к закону, а не потворствовать его нарушению. Молельни запрещены. Раскольники их на свой страх содержат. Я могу молчать о том, что знаю, потому что я не сыщик; но когда власти узнают, помимо меня, что им следует знать, – мое дело сторона.

– Папá, вы сами раз помогли.

– Тем менее могу помогать во второй раз. Ты меня упростила. Я для тебя это сделал.

– Но вы это сделали, оговорив, что сочли возможным сделать только потому, что молельня не новая, что никаких внешних признаков нет, что она только убранная иконами комната в доме одного из крестьян, что, следовательно, можно ее и не считать молельней, и что только запрещено строить новые и исправлять старые. Ничто с тех пор не переменялось. Никаких починок не производится.

– Все-таки раскольники туда вхожи. Коль скоро начальство признало молельню не комнатой, а молельней – делу конец.

– Папá, вы добры; вы на деле добрее, чем хотите казаться. Вам самим стало жаль этих людей. Вы сами их назвали несчастными. Я помню это. Если они тогда были несчастны, разве они менее несчастны теперь?

– Я, может быть, и назвал их несчастными. Но они по своей же вине несчастны. Кто упорно сам хочет быть несчастным, тому нельзя помочь.

– Папá, не сердитесь на меня. Вы также мне не раз говорили, что когда я прошу, то прошу от доброго сердца, и вы потому мне мои просьбы прощаете. Я и это помню, и сегодня прошу потому, что сердце приказывает просить. В чем виноваты эти бедные люди? Только в том, что они молятся Богу, как их с детства учили молиться, как их отцы и матери молились. Если же им запрещают так молиться, разве они не принуждены скрываться? Разве лучше совсем не молиться или молиться притворно, лгать перед Богом? Они в по-

стоянном страхе. А когда на них нападают, как теперь хотят напасть в Сизой деревне, они плачут и покоряются.

– Еще бы не покориться! Их заставили бы покориться.

– Они и не пытаются сопротивляться. Они только смиренно просят. Вы сами, папá, признавали при мне, что в них сохранились коренные русские чувства, сохранились древние обычаи, сохранились уважение ко всей старине и верность ко всем нашим народным преданиям. Вы говорили, что с ним охотно имеете дело по хозяйству, что когда они снимают землю, то нет недоимок, а когда покупают лес, то не вырубят лишнего.

– Нечего сказать, – перебил Сербин, вставая, – они в тебе имеют усердного ходатая...

Степан Петрович молча прошел раза два по кабинету из угла в угол, потом остановился перед Верой и спросил:

– Да скажи мне, пожалуйста, почему они к тебе обращаются?

– Потому, папá, – сказала Вера ласковым голосом, еще раз целуя руку отца, – что они думают, будто вы меня любите и ко мне снисходительны. – Они, вероятно, думают, что если бы они прямо к вам обратились, вы бы просто могли отказать и даже так отозваться, что вам и принимать такие просьбы неудобно. Они не посмели бы так с вами рассуждать, как вы мне это позволяете. Да и между людьми тотчас пошла бы молва о том, что они у вас были, вас просили. Обо мне никто не вспоминает, никто не думает. Что бы вы

ни решили, ничьей просьбе не может быть приписано. Василиса когда-то хотела обратиться к мамá; но я, признаюсь, это отсоветовала. Вы всегда говорите мамá, что она, как лютеранка, не может иметь верного взгляда на такие дела. Я, конечно, не вправе иметь свой взгляд; но я, по крайней мере, православная, как вы, и если вы мне откажете, то просто потому, что прошу того, чего вам сделать нельзя, – а вам, во всяком случае, менее неприятно отказывать мне, чем мамá...

– Они просто злоупотребляют тем, что знают, что я тебе не люблю отказывать. – Но на этот раз, извини, я ничего не могу сделать.

– Тогда я так и передам Василисе. Все-таки лучше, папá, что эти люди не ходят далее, чем к ней. А они начинают в своем отчаянии бросаться во все стороны. Я слышала, – прибавила Вера нерешительно, но смотря в глаза Степану Петровичу, – что они и Прасковью Семеновну хотели просить за них слово замолвить...

– Прасковью Семеновну? – сердито спросил Сербин. – Почему Прасковью Семеновну?

Вера заметила перемену в лице отца и, опустив глаза, тихо ответила:

– Говорят, что она как-то была наемни в Сизой деревне и к тамошним показала участие. Но это, конечно, пустые толки... Еще раз прошу вас на меня не сетовать, папá. Я сейчас же зайду к Василисе и скажу ей, что не нашла возмож-

ным вам говорить об этом деле, что вы были заняты, или я не решилась... одним словом, об отказе от вас не будет речи. Василиса неразговорчива. От нее никто из чужих никаких рассказов не добьется.

Вера направилась к дверям кабинета, но Степан Петрович ее остановил.

– Все дело в том, – сказал он, – кто распоряжается и от кого почин. – Теперь тебе некогда опять ходить к Василисе. Нам сейчас подадут обед. А ты позже расспроси. Если дело от полиции, я, может быть, еще раз – хотя решительно в последний – попытаюсь помочь. Если же оно известно преосвященному, то мне вступаться нельзя.

Когда Вера затворила за собой дверь, Степан Петрович взглянул на часы, потом торопливо взял шляпу и, выйдя в сад, направился по липовой аллее к выстроенному в конце ее павильону.

## VI

К обеду опоздала не Вера, но Степан Петрович. Его ждали с полчаса, чего никогда не случалось. Наконец, он прислал сказать, что тотчас будет, а между тем можно подавать обед без него. Прасковья Семеновна еще ранее извинилась нездоровьем, и Анна Федоровна с дочерью вдвоем заняли за столом свои обычные места. Обе молчали, и когда вошел Сербин, ни та, ни другая не осведомились о причине его поздне-

го прихода. Он казался озабоченным, был молчалив и только проронил несколько насмешливых слов насчет Печерина, который будто бы не намерен продавать Черного Бора и вообразает, что он может хозяйничать из Парижа. Тотчас после обеда Степан Петрович сказал Вере, что на этот раз он решительно ничего по ее просьбе сделать не может, поручил объявить о том Василисе и ушел в свой кабинет, сказав, что ему нужно дописать спешные письма.

Вера последовала за матерью и заметила, что на ее глазах выступили слезы. Анна Федоровна прошла к себе в спальню. Вера молча взяла ее за руку, потом опустилась на колени перед ней и поцеловала руку. Анна Федоровна нежно обняла дочь, и обе заплакали.

– Не могу говорить теперь, – тихо сказала Анна Федоровна. – Ты должна передать Василисе то, что сказал папá, исполни это. Потом приходи ко мне.

В тяжелом раздумье Вера направилась к строениям при оранжереях. Через открытое в комнате Василисы окно был слышен чужой голос. Вера остановилась; но Василиса увидела ее и попросила войти. В комнате был Кондратий из Черного Бора; повеселевшее выражение лица Василисы приятно удивило Веру.

– Матушка Вера Степановна, – сказала Василиса, – на этот раз Бог без нас помиловал. Завтра никаких обысков в Сизой деревне не будет. Мой старый кум Кондратий только что пришел с этой доброй вестью. Ведь вы его знаете.

– Да, – отвечала Вера, поздоровавшись с Кондратием, – я видела его в Черном Боре. – Что же случилось? Еще сегодня утром он, кажется, приходил с другой вестью.

– Так было, точно, матушка Вера Степановна, – продолжала Василиса, – но тогда он еще не знал о перемене. Он вам сам это расскажет, если позволите. Он церковный, но и у него родня в Сизой деревне, и он знает, что там добрые люди.

– Борис Алексеевич, наш барин, и Николай Петрович Суздальцев дело устроили, – сказал Кондратий. – Они господину исправнику объяснили его как следует. Молельни, мол, нет, а только иконы в жилом доме. Не запрещено иметь иконы и не запрещено ходить к человеку, у кого есть иконы. Кроме того, Борис Алексеевич ездил в Никольское, к благочинному, и с ним переговорил.

– Почему же Борис Алексеевич так горячо вступился в дело? – спросила Вера.

– Как – почему, матушка Вера Степановна? – сказала Василиса, – да потому, что он добр и всякому доброму делу пособлять готов. Его недаром все успели полюбить в Черном Боре. Спросите только Кондратия. Он вам скажет, что за Бориса Алексеевича готов в огонь и воду идти.

– Пойду не задумавшись, – сказал Кондратий.

– Правда ли, – спросила вдруг Вера, – что он каждый день бывает в часовне?

– Совершенная правда, сударыня, – отвечал Кондратий. –



Он меня, старика, этим радует. – Мне думается, что тогда покойница Марья Михайловна на него смотрит и меня видит.

– Какой ты добрый, Кондратий! – сказала Вера и, вздохнув, прибавила: – Будет ли кто-нибудь так нас помнить, когда мы умрем?

– Рано вам помышлять о смерти, Вера Степановна, – перебила Василиса. – Вам, по милости Божией, еще далеко до нее.

– Никогда не рано о ней думать, – отвечала Вера, – а далеко ли, или недалеко до нее – один Бог знает. Марию Михайловну смерть рано унесла...

Когда Вера возвратилась к матери, она застала ее уже не в спальне, а в кабинете, в креслах, в которых Анна Федоровна имела обыкновение читать или заниматься рукодельной работой. Но она не читала и не работала, а смотрела на вид Дрездена, обративший на себя внимание Печерина при первом посещении им Васильевского.

Вера молча села возле матери, потом сказала:

– Вы опять смотрите на ваш Дрезден, мамá. А вы всегда на него смотрите, когда вам грустно.

– Да, моя милая, и теперь мне кажется, что Дрезден со мной прощается и мне говорит, что моя надежда с ним свидеться никогда не исполнится.

– Почему же теперь вам лишаться этой надежды? Вы еще недавно мне о ней говорили.

– Так... Мне вообще чуется недоброе впереди.

Вера ничего не ответила. Ей думалось, что это недоброе уже настало.

– Нельзя иногда не предаваться печальным мыслям, – продолжала Анна Федоровна. – Ты знаешь, что мое здоровье совершенно подкосилось. – Я не больна, как больные, которым нужно послать за доктором, но чувствую, что больна. Чувствую, что силы слабеют, струны жизни перетираются. Что будет с тобою после меня? Вот вопрос, который мне жмет сердце.

– Мама́, прошу вас, не говорите так! И без того не все в жизни радостно.

– Это правда, – тихо сказала Анна Федоровна, – но тем более поводов для меня о тебе думать и за тебя тревожиться. Если бы ты была замужем, я, конечно, была бы спокойна...

– И об этом, мама́, прошу вас не думать. Не за кого мне выходить, и не могу я мириться с мыслью, что с вами пришлось бы расстаться.

– И я прежде неохотно останавливалась на этой мысли... Но с некоторого времени она все чаще и чаще меня заботит. Ты все-таки была бы мне утешением и опорой, хотя и в разлуке со мной, если бы я только была уверена, что ты счастлива... Ты знаешь, Вера, что и теперь, в одном доме, у нас могут быть печали, о которых мы друг с другом не говорим... Разве это не своего рода разлука?.. И мы ее выносим. Мы, по крайней мере, обе знаем, что нас печалит, знаем, по-

чему не говорим, и тем не менее делим печаль и друг другу можем быть утешением... Если же меня не станет, – что будет тогда?

– Бог мне сохранит вас, мамá. Вспомните, ведь вы сами всегда говорите, что наша судьба – в Его руках; человек не должен прибавлять к насущным заботам одного дня гадательные заботы о других днях.

– Я и теперь могу сказать это; но при том невольно думаю о таких днях. Всякий раз, когда вижу Суздальцевых, сожалею о том, что для тебя не нашлось – и здесь нет – другого Суздальцева. Вот добрая пара. Они – пара. Они живут заодно и могут состариться заодно...

Звук бубенчиков быстро подъехавшей тройки побудил Анну Федоровну оглянуться на окно.

– Опять Пичугин, – сказала Вера.

– Да-да, – отвечала Анна Федоровна. – У него какое-то дело к отцу.

– И верно, опять дурное дело, – прибавила Вера. – Я несколько раз замечала, что папá ему помогает неохотно, но не решается отказать.

Степана Петровича не нашли в доме, и Пичугин вошел в кабинет Анны Федоровны...

Поздно вечером, когда Вера была одна в своей комнате, в ее памяти беспрерывно воспроизводились события дня: два свидания с Василисой, разговор с отцом, молчаливый обед и послеобеденная беседа с матерью. Печаль, о кото-

рой ни та, ни другая не высказывались, давно томила Веру, и в связи с тягостным ощущением этой печали ей припомнились слова ее матери. – «Она мне желает второго Суздальцева, – сказалось в уме Веры. Кто бы мог быть вторым Суздальцевым?» – И, как ответ на этот вопрос, само собой сказалось имя Печерина.

Во второй раз в этот день мысли Веры останавливались на Печерине, и вечером остановились на нем еще упорнее, чем было утром. Она стала ближе припоминать все частности недавних с ним встреч; ей стало казаться, что в его взгляде, даже в нескольких отрывисто сказанных ей словах она имела повод найти признаки особого к ней внимания и как бы уверенности в согласии их мнений. Вера почти машинально раскрыла том стихотворений графа А. К. Толстого и на первой открывшейся странице прочла:

Мне в душу, полную ничтожной суеты,  
Как бурный вихорь, страсть ворвалася нежданно,  
С налета смяла в ней нарядные цветы  
И разметала сад, тщеславием убранный...

«Ни суеты, ни тщеславия убранного сада я к себе применить не могу, – подумала Вера, – но вихорь мог бы ворваться мне в душу и смять тогда не только мелочи жизни, но и меня, бедную!»

Вера дочитала стихотворение, потом закрыла книгу; но мысль о «бурном вихре» ее в тот вечер не покидала.

## VII

– Что-то неладно в Васильевском, – сказал Печерину захавший к нему оттуда Суздальцев. – Сербин в Белорецке, а Анна Федоровна извинилась нездоровьем и меня не могла принять. Ко мне вышла с извинением Вера Степановна; она мне показалась сильно расстроенной.

– Я там был в последний раз на прошлой неделе, – отвечал Печерин. – Тогда Сербин не говорил о поездке в Белорецк, но казался очень не в духе. Впрочем, они все имели какой-то озабоченный вид.

– Знаете что, – продолжал Суздальцев, – не досужно ли вам сегодня отобедать у нас? Я с тем и заехал и вас отвезу, а вы прикажите за вами приехать.

– Охотно, – отвечал Печерин, – сейчас распоряжусь.

Печерин приказал позвать Кондратия и перед выездом в Липки сказал ему вполголоса несколько слов, на что Кондратий отвечал: «понимаю; будет исполнено».

В Липки приехал к обеденному времени и другой гость, губернский лесничий Сокольский, с которым Суздальцев познакомил Печерина.

– С большим удовольствием слышал я, – сказал Сокольский, – что Борис Алексеевич решительно отклонил предложение продать свое имение. Тот, кто к нему с этим предложением являлся, конечно, имел в виду уничтожить прекрас-

ный бор, которому имение обязано своим названием.

– Покупщиков было несколько, – заметил Суздальцев.

– Да, но я думаю, – продолжал Сокольский, – что двое других только были подосланы главным, который не желал выступить первым и с расчетом надбавил против них цену.

– А кто был последним? – спросил Суздальцев.

– Некто Болотин из Белорецка, – отвечал Печерин. – Он приезжал ко мне из Васильевского на другой день после нашей поездки в Сизую деревню. Я был не в духе, довольно сухо его принял и наотрез отказался от всяких переговоров о Черном Боре.

– О Болотине, – сказал Суздальцев, – я знаю только то, что он по всем делам сподручник Сербина и Пичугина. Кстати, о Пичугине. Он продолжает хлопотать о высылке того бедного старика, который был ходатаем за соседних крестьян по делу о какой-то им будто принадлежащей пустоши.

– Вероятно, он в этом успеет, – сказал Сокольский. – Не знаю подробностей дела, но слышал, что Пичугин его представляет в весьма невыгодном виде.

Вечером, по возвращении из Липок, Печерин тотчас потребовал к себе Кондратия.

– Что же ты скажешь мне? – спросил Печерин. – Видел Василису и узнал, в чем дело?

– Василису я видел, – отвечал Кондратий, – и что она знает, то я узнал; но и она более догадывается, чем знает.

– Не случилось ли там что-нибудь?

– Если случилось, то случилось только то, что давно могло бы случиться. Василиса говорит, однако же, что дело пока темное. Там есть, как вы знаете, приживалка в доме, будто родственница Степану Петровичу; она второе лето гостит в Васильевском. Степан Петрович за ней ухаживает. Все люди о том знают, а Степан Петрович воображает, что не знают и будто Анна Федоровна не знает. Все люди терпеть не могут этой приживалки. Ее зовут Прасковьей Семеновной. Из-за нее что-то неладное и вышло.

– Да что же неладное?

– Этого Василиса порядком не знает. Она только сказала мне, что на другой или третий день после того как я был у нее, чтобы переговорить о Сизой деревне, в Васильевское приезжал тот самый господин Болотин, который и у вас был, и что когда он уехал, то произошла какая-то ссора между Степаном Петровичем и Прасковьей Семеновной; а потом были какие-то переговоры между Прасковьей Семеновной и Верой Степановной и между Верой Степановной и отцом; и Прасковья Семеновна уехала в Белорецк, а дня два спустя и сам Степан Петрович туда уехал. Анна Федоровна и Вера Степановна плакали; но почему плакали, Василиса не знает.

– Спасибо, – сказал Печерин. – Ничего более мне пока не нужно.

На следующий день Печерин поехал в Васильевское и, остановив лошадей в некотором расстоянии от дома, один дошел до него пешком и велел доложить Вере Степановне,

что он ее просит принять его на несколько минут. Когда Печерин вошел в гостиную, он уже застал там Веру. Она молча подала ему руку и, очевидно, ожидала объяснения, почему он именно ее желал увидеть.

– Прошу извинения, если вас потревожил, – сказал Печерин, – но я слышал от Суздальцева, что Анна Федоровна больна и хотел лично осведомиться.

– Благодарю вас, – отвечала Вера. – Сегодня мамá себя чувствует несколько лучше и желает вас видеть. Она только просит немного подождать, пока она из спальни выйдет в кабинет.

– Очень буду рад. Я уже беспокоился на ее счет, когда у вас был в последний раз. Она и тогда мне казалась не совсем здоровой.

– Мамá часто страдает сильными головными болями, и вообще, ее здоровье в нынешнее лето еще более пошатнулось.

– Я и на ваш счет, Вера Степановна, позволил себе несколько тревожиться. В прошлый раз вы были сами или не совсем здоровы, или чем-нибудь озабочены.

– Весьма любезно, что вы обо мне подумали, но я, благодаря Бога, здорова.

– Я слышал, что вы теперь одни. Степан Петрович уехал...

– Да, папá должен был на короткое время поехать в Белорецк.

– Надеюсь, что Анне Федоровне можно будет сегодня выйти на воздух, на ее балкон. Погода великолепная.



– У мамá даже и в спальне окно отворено.

– Вера Степановна! – вдруг сказал Печерин, – вспомните наш разговор у Суздальцевых. Вы тогда со мной соглашались. Согласитесь ли вы сегодня?

Вера улыбнулась, но невеселой улыбкой, и спросила:

– В чем согласиться? Не знаю, тот ли разговор я припоминаю, о котором вы упомянули.

– Речь шла о светских разговорах вообще, и вы признавали, что в них тратится много слов, чтобы ничего не сказать или не сказать прямо и просто то, о чем думается.

– Это я помню.

– Что же делаем мы теперь с вами? Мне кажется, мы ведем городской разговор. Я вам тогда признался, что деревня на меня произвела неожиданное действие и сделала как бы другим человеком. Теперь я постоянно порываюсь прямо высказывать, что на сердце приходит. Сегодня я в этом настроении сюда приехал или, точнее, пришел, потому что мне как-то неприятно было вкатиться на ваш двор при топоте лошадей и стуке колес. Я встревожен на ваш счет и насчет вашей матушки. Мне хотелось вам это сказать и взглянуть на вас, потому что на вашем лице, я уверен, прочту ответ, который вы, быть может, не дадите на словах.

– Искренне благодарю вас за участие, – тихо сказала Вера, – но я могу отвечать и на словах. Я уверена, что вы не поставите мне вопроса, на который мне не следовало бы давать ответа.

– Никакого вопроса я не могу ставить, – продолжал Печерин. – Я просто хотел сказать, что я давно вижу, что вы и ваша матушка чем-то озабочены или опечалены, и что, как добрый сосед, сердечно благодарный за приветливое ко мне внимание, я себе позволяю также быть озабоченным или опечаленным. Быть может, не совсем ясно или несвязно то, что я говорю, но оно искренне. Ваша матушка себе завоевала мое сердце. Вы себе представить не можете, как я ее почитаю и как ей от души предан. Она – олицетворенная кротость, а это свойство меня всегда трогало и подчиняло. Оно было свойством моей покойной матери.

Вера протянула руку Печерину и взволнованным голосом сказала:

– Хотя вы и недавно стали нашим соседом, мамá и мы все успели к вам привыкнуть и убедиться в ваших добрых к нам чувствах. Насчет мамá вы совершенно правы. Ее нельзя не любить. Ее любят все, кто ее знает...

– Вера! – послышался из соседней комнаты голос Анны Федоровны.

– Мамá зовет, – торопливо сказала Вера, вставая. – Борис Алексеевич, пройдемте в ее кабинет.

В это самое время происходило в Белорецке другого рода объяснение между Степаном Петровичем Сербиным и членом губернской земской управы Антоном Ивановичем Болотиным.

– Поверьте, – говорил Болотин, – что для вас будет лучше бросить все такие заботы о Прасковье Семеновне.

– Не в моих привычках бросать то, за что я взялся, – отвечал Сербин. – Но вы чего-то не договариваете или выражаетесь двусмысленно. Скажите прямо: в чем дело? Почему неудобно для меня заботиться об интересах бедной или почти бедной родственницы, которая во мне одном имеет опору?

– Не в вас одном, Степан Петрович. У нее есть тетка. Быть может, и еще кое-кто найдется. А для вас – если вы требуете, чтобы я без обиняков высказался, то я выскажусь, – для вас неудобно это потому, что и помимо этого много ходит толков о ваших отношениях к Прасковье Семеновне.

– Какие толки? Что можно говорить о моих к ней отношениях?

– Степан Петрович, вы человек опытный, бывалый, вы знаете свет. Неужели вы думаете, что потому только, что вы молчите и другие молчат?

– Я молчу потому, что нет ничего, о чем можно бы говорить. Если же другие говорят – то все это злые басни и сплетни.

– Согласен и на то, что басни и сплетни. Они все-таки очень распространены, и ваши недоброжелатели их выдают прямо за истину. Внезапное возвращение Прасковьи Семеновны, а затем и ваш приезд – оживили эти толки.

– Мой приезд? Вы знаете, что я приехал по делу Пичуги-

на, по его просьбе.

– Да, но оно решено, а вы еще здесь и все бываете у Прасковьи Семеновны. Неужели вы воображаете, что этого не подмечают?

– Еще бы не бывать. Город пуст, некому подмечать, а мне незачем прятаться.

– Положим, что город пуст, но языки в нем остались, и чем менее им дела на других улицах, тем усерднее они работают на вашей. Да и предмет не новый. И преосвященный о нем знает, и до Москвы давно дошли слухи. Один из наших влиятельных приятелей оттуда уже во второй раз меня спрашивает, много ли в них правды. Теперь удобно показать, что толки были пустые. Прасковья Семеновна здесь; вы вернетесь в Васильевское; а там, до осени, успеют заговорить о чем-либо другом или о ком-либо другом, помимо вас.

Лицо Сербина нахмурилось. Он молчал и смотрел в растворенное окно.

– Поверьте мне, Степан Петрович, – повторил Болотин, – бросьте ваши хлопоты за Прасковью Семеновну. Недаром была осечка на Черном Бору. Вообще, вы здесь не найдете ничего подходящего; а поиски, о которых сама Прасковья Семеновна проговаривается, и болтливость ее глупой тетки дают пищу толкам.

– А какая может быть у нее другая опора? – вдруг спросил Сербин.

– Разве и это для вас неожиданность? – отвечал Болотин. –

Вы с этой опорой сами встречаетесь у Прасковьи Семеновны.

– Не понимаю вас. Я ни с кем у нее не встречаюсь.

– По крайней мере, могли бы встретиться. Припомните, что прошлой зимой вы здесь видели молодого помещика, родственника нашего вице-губернатора. Он был студентом во времена покойного профессора, ее мужа, и с тех пор Прасковья Семеновна его знает. Он человек зажиточный, недалекого ума, тщеславный, податливый, и Прасковья Семеновна, кажется, умела его записать в свои поклонники.

– Подгорельский? – сказал Степан Петрович. – Не может быть. Он гораздо моложе ее.

– Так что же? Это не мешает. Примеры бывали. Он весной сюда вернулся и до вашего выезда в Васильевское бывал у Прасковьи Семеновны.

– Не может быть, – повторил Сербин. – Она никогда о нем не упоминает.

– Однако с ним переписываться может.

– И этому не верю.

– Не верьте, если не хотите верить. Положительно то, что еще недавно она от него письмо получила.

– Как могли вы узнать о том?

– Весьма просто: мы с ним встретились на почте, и письмо было при мне подано.

Степан Петрович призадумался, стал с явным беспокойством ходить по комнате, потом остановился и с притворным равнодушием сказал:

– Впрочем, я не имел надобности караулить знакомых Прасковьи Семеновны. Подгорельский мог и бывать у нее, как бывали другие. До свидания, Антон Иванович. Завтра в эту же пору зайду к вам, и мы договоримся.

Сербин вышел. Болотин смотрел вслед ему и произнес вслух:

– Знаю, куда вы теперь спешите, Степан Петрович. Вы, человек стародавних, строгих нравов, торопитесь допросить вашу любезную Прасковью Семеновну. Вы, человек правды, только что помогли Пичугину в неправом деле. Вы злоупотребляете моими силами и умением, потому что я ваш должник. Если бы не мои несчастные долги, я бы с вами давно развязался!..

## VIII

Время и пространство – понятия довольно условные; недаром философы полагают, что на деле совсем даже не существует ни пространства, ни времени, это только приращенные нам формы мышления, и наш ум изобрел идею пространства для объяснения конкретности предметов, а идею времени – для объяснения последовательного порядка явлений и событий. Но тем не менее, для нас обе эти идеи сопровождаются каким-то признанием несомненной их действительности. Против них наша воля бессильна, и упразднить их мы не можем; свойства признания бывают, однако,

различны. Относительно пространства от нас зависит сокращать размеры его представления. Мы можем думать о какой-нибудь части пространства или даже вовсе о нем не думать. Оно для нас неподвижно и неизменно. Напротив того, время относительно нас находится в безостановочном, непрерывном движении. Мы можем и о нем не думать и его движения не подмечать непрерывно, но последовательный ход явлений совершается помимо того, наблюдаем ли мы за ним или нет. Всегда наступает минута, когда мы сознаем, что движение времени совершилось...

Давно уже минул срок, до которого Печерин первоначально имел намерение оставаться в Черном Боре, и он давно начал тяготиться своим одиночеством. На словах и на бумаге может преобладать идиллическая сторона сельского уединения. Но на деле для того, чтобы легко жилось в деревне, нужен семейный очаг или нужны занятия, которые поглощали бы значительную часть дня и досугу придавали все приятные свойства отдохновения. У дилетанта-хозяина, каким был Печерин, таких занятий и быть не могло. Между тем август наступил, дни стали короче, ненастье повторялось чаще, по хозяйству не было новых занятий; даже закончилось предпринятое Печериным, за неимением другого дела, устройство части дома, предназначенной им для гостей и состоявшей из ряда комнат в верхнем этаже, на стороне, противоположной часовне. Но никаких гостей не было, и одинокий хозяин чувствовал себя отшельником в переустроен-

ном им доме. Он по-прежнему ездил в Липки и особенно часто посещал Васильевское; но по возвращении в Черный Бор сознание одиночества восстанавливалось с большей силой и в поздние вечерние часы нередко переходило в ощущение хотя и добровольного, но мучительного одиночного заключения.

Что же могло удерживать Печерина в Черном Боре и даже заставляло его отписываться, для объяснения причин замедляющегося возвращения в Петербург и отъезда оттуда по службе в Париж? Печерин и себе самому ставил этот вопрос, и всегда чистосердечно сознавал, что ответом на него была Вера Сербина.

Любил ли Печерин Веру? Нет, он только *полюбил* ее. Это известный оттенок чувства, менее интенсивного и менее исключительного, которое не всегда даже переходит на высшую степень полной исключительности и интенсивности. Анна Федоровна и ее дочь Вера с первой встречи были симпатичны Печерину, а потом возбудили в нем живое к себе участие. При отсутствии других отвлекающих впечатлений эти чувства легко могли развиваться и упрочиться. Вера нравилась Печерину, и он с удовольствием замечал, что и его присутствие ей было приятно; она к нему, видимо, относилась с простодушным доверием. Но отец ее, Степан Петрович, производил на него отталкивающее впечатление, и это впечатление было охлаждающей струей, постоянно напоминавшей ему о Париже. Печерин знал, что в конце концов



он уедет, уедет надолго, и что Васильевское канет для него в ту область прошлого, где более или менее скоро бледнеют все краски настоящего. Почему же он медлил отъездом? Ему просто было жаль расстаться с настоящим, и он уступал этому сожалению со дня на день, под влиянием свойственной ему впечатлительности и привычного равнодушия к своим официальным отношениям. Он несколько раз, однако, спрашивал себя: хорошо ли он поступает в отношении Веры? Но на такие вопросы отвечала та, почти вся неискренняя, скромность, которая позволяет человеку не считать себя опасным для чужого сердца. Впрочем, Печерин дополнительно успокаивал себя еще тем, что он не ухаживал за Верой в обычном смысле этого слова, ничего ей не сказал, что могло бы сколько-нибудь связать свободу его действий в будущем, и если раз или два говорил о взаимности чувств, то говорил только о дружбе; он как будто не знал, что значит – говорить о дружбе; когда одному из собеседников еще не минуло тридцати лет, а другой только что исполнилось девятнадцать.

Печерин засиделся как-то вечером у Суздальцевых. Там долго рассуждали о пожаре, от которого за несколько дней перед тем сгорела усадьба помещика Пичугина. Дело случилось в бурную ночь и приписывалось поджогу. Подозревали двух сыновей высланного в другую губернию, по домогательству Пичугина, крестьянина из соседней деревни, и в особенности одного из них, который был известен в око-

лотке как сорвиголова, хотя до той поры ни в каких преступных действиях не был замечен. Но подозрение опровергалось тем, что именно этот сын провожал отца до места высылки и был на обратном пути в Белорецке в ту самую ночь, когда случился пожар. О его брате также было доказано, что он в ту ночь находился в другой местности. Могли быть сообщники, но их следов напрасно доискивались.

Прощаясь с Печериным, Мария Ивановна Суздальцева отвела его несколько в сторону и спросила, давно ли он был в Васильевском.

– Вчера, – отвечал Печерин.

– А когда полагаете опять там быть?

– Не знаю... быть может, и завтра... Пользуюсь тем, что Сербин опять в Белорецке.

– Понимаю... Впрочем, он действительно неприятен... Не забывайте, однако, Борис Алексеевич, того, что я вам намедни говорила. Не сетуйте на меня и подумайте о Вере. Я люблю ее и за нее опасаясь. *Vous lui montez la tête.* По-русски нет точного выражения для моей мысли. «Вскружить голову» – не совсем то. Голова Веры не вскружится. Но вы, тем не менее, вводите ее в заблуждение насчет ваших, может быть, и насчет ее собственных чувств. Хорошо ли это?

– Поверьте, Мария Ивановна, я осторожен, никого не ввожу в заблуждение и никакого недоразумения не допущу. Нельзя же мне запереться в Черном Боре, когда Васильевское в четырех верстах!

– Да, но Париж не в четырех верстах. Вы мне позволили с вами всегда быть откровенной. Вам Вера просто нравится.

– И я буду откровенен: она симпатична, и мне очень жаль ее.

– Вы мне это уже в третий раз повторяете. Вам давно жаль. Но надолго ли будет жаль, после того как вы уедете? Приятно жаль, жаль – вы сами знаете, что это слово или неточно, или для Веры, быть может, хуже, чем неточно. Она не дорожит сожалением. Напрасно я ранее о том не подумала...

– Нельзя не жалеть, когда видишь ее и ее бедную мать.

– Все это так; но чем дальше, тем больше может быть жаль.

– Вы меня решительно высылаете из Черного Бора? – сказал Печерин после минутного молчания.

– Нет, я только призываю себе на помощь ваше сердце. Еще одно слово. Вы, кажется, по-прежнему дорожите памятью покойной Марьи Михайловны; отдаю Веру под ее защиту.

Печерин молчал.

– Вы, надеюсь, на меня не сердитесь, – продолжала Мария Ивановна и протянула руку Печерину.

Он поцеловал руку и молча вышел.

На обратном пути в Черный Бор Печерин постоянно вспоминал о последних словах г-жи Суздальцевой. Они звучали упреком, но его совесть упреку не вторила. Странно, – говорил сам себе Печерин, – что человек может в таком положе-

нии быть без вины виноватым. Вправе ли я воображать, даже не смешно ли воображать, что я так легко побеждаю сердца, и потому только, что я часто бываю в Васильевском и охотно вижу Веру, а на безлюдье и ей, может быть, приятно меня видеть? Она, впрочем, знает, что я должен уехать, и мы часто говорим о том. Разве нет возможности дружелюбно относиться к молодой девушке, не имея в кармане готового патента на звание жениха? Если бы я здесь оставался, то дело имело бы совсем другой вид. И кто знает, что может случиться со временем? Быть может, я и развяжусь с Парижем. Во всяком случае, однако, не для того, чтобы часто видеться с Сербиным...

Между тем погода хмурилась. Черные тучи набегали одна за другой и, наконец, совершенно застлали собой небо. Поднялся сильный ветер. Конец пути пролегал вдоль бора, который глухо гудел, подобно шуму морского прибоя. Печерин стал нетерпеливо смотреть вперед, ожидая, не покажутся ли огоньки села. Наконец огоньки показались. Еще несколько минут – и он был дома.

На этот раз, в темную бурную ночь, черноборский дом показался Печерину еще более пустынным, чем прежде. Когда он остался один в своем кабинете, все в доме замолкло, и слышны были только завывание ветра, шум колеблемых им ближних деревьев и жалобное дрожание стекол в окнах; ощущение мятежной тоски овладело Печериным, и в его мыслях решительно сказалось: «Пора уехать!» Он пытался чи-

тать, но ему не читалось, и он бросил книгу. Образ Веры упорно восставал перед ним, и последний разговор в Липках снова пришел ему на память. «Быть может, – думал он, – Вера действительно объясняет себе мои отношения к ней каким-то чувством жалости, которое ее должно огорчать». Он стал припоминать частности последних с ней свиданий и в них находить следы или признаки грустного недоверия. «Необходимо объясниться», – подумал он, и затем само собой опять повторилось: «Пора уехать!»

Сон не смыкал глаз Печерина. Он невольно продолжал слушать шум бури и думать о Вере. Вдруг ему показалось, что и в доме было движение. Он прислушался. Оно затихло, потом возобновилось, усилилось. К Печерину торопливо вошел его старый камердинер.

– Пожар, Борис Алексеевич, – сказал он, – пожар!

– Где? Какой пожар? – тревожно спросил Печерин.

– В Васильевском. Господский дом горит.

– Не может быть! Скорее давай одеваться!

– Дом горит, – отрывисто продолжал камердинер. – Оттуда прискакал верховой, просит нашей трубы. До нас уже прежде доносился гул набата. Для вас закладывают троечные дрожки. Кондратий говорил, что вы непременно поедете, а сам уехал при трубе. Зарево видно и становится сильнее.

Печерин бросился к окну. По направлению к Васильевскому действительно светилась та зловещая ярко-багровая

полоса отраженного на темных тучах пламени пожара.

Сборы Печерина были непродолжительны. За пересекавшей дорогу ясеновой рощей ему уже стали видны клубы огненного дыма, под которыми пробегали, как при быстрой езде казалось, черные очерки дерев. По обеим сторонам пути местами виделись группы людей, спешивших на пожарище через луг и поле. Приближаясь к Васильевскому, Печерин заметил, что в кустах, на берегу речки, неподвижно стоял кто-то и смотрел на огонь. Печерин оглянулся, но никого уже не было видно. Миновав село, кучер сдержал лошадей и наконец остановился. Толпа народа затрудняла проезд. Печерин соскочил с дрожек; в толпе его тотчас узнали, дали ему дорогу, и у ворот усадебного дома он увидел поджидавшего его Кондратия.

– Где Вера Степановна и Анна Федоровна? – спросил Печерин.

– Анна Федоровна у отца Пимена, – отвечал Кондратий. – Вера Степановна здесь, на пожаре; Василиса с нею.

## IX

Кто видел пожар в деревне, тому известно, что это бедствие представляет там еще более ужасающие черты, чем в наших столицах, где есть нечто сколько-нибудь успокаивающее, ввиду стройности борьбы с огненной стихией; участники такой борьбы в городах – люди умелые; объеди-

няющая власть распоряжается их частными усилиями. Есть также зрители, но они безгласны в деле. Вообще, в городе чувствуется, что помощь близка, сильна и даже после пожара она останется, хотя и в другом виде, более или менее доступной пострадавшим. В деревне общее впечатление есть впечатление жалобной, но шумной и бестолковой неурядицы. В борьбе с огнем нет ни единства, ни предусмотрительности. Плачевный вопль посторонних женщин сливается с праздными пересудами и криками беспомощных крестьян, а ночью вокруг всей области зловещего света пожара разостлан пустынный сельский мрак, напоминающий о том, как далека всякая человеческая помощь.

На этот раз в Васильевском было не менее шума, но менее беспорядочной суеты. Действовали две местные пожарные трубы и черноборская. Распоряжался, насколько слушались посторонние, человек рассудительный, доверенный конторщик Сербина; но в подаче и подвозе воды из близкого пруда был явный недостаток. Неожиданное обстоятельство между тем оказало существенную пользу. Пожар начался с подветренной стороны, в строении, где помещалась кухня, и перешел на дом по крытой галерее, соединявшей его с тем строением. Порывистый ветер вдруг переменял направление и с прежней силой погнал искры и пламя прочь от дома, в котором загорелась только та часть его, где находились комнаты, занимаемые самим Сербиним. Другая часть, более обширная, где были комнаты Анны Федоровны и Веры, остава-

лась нетронутой огнем. Печерин с первого взгляда убедился в необходимости сосредоточить все усилия тушения на этом наветренном пределе огня; тотчас приказал Кондратию направить туда действие черноторской трубы, а между тем глазами искал Веру и увидел ее под одним из стоявших против окон Анны Федоровны дерев. Подле нее было несколько женщин; за ними, в нескольких шагах, смешанная толпа крестьян, а впереди, на луговине перед домом, вынесенная из дома и кучами разбросанная домашняя утварь. Печерин бросился к Вере.

– Вера Степановна, вам нельзя здесь оставаться в эту бурю. Позвольте мне вас отвести к вашей матушке, а я вернусь – и, поверьте, постараюсь сделать все, что возможно. Половину дома еще можно отстоять.

– Я недавно была у мамы, – отвечала Вера. – Она меня просила посмотреть, спасены ли некоторые вещи, которыми она особенно дорожит.

– Прикажите мне, что вам угодно, но не оставайтесь. Я сейчас распоряжусь, а потом вас отведу.

Печерин обратился к толпе и громко крикнул:

– Кто здесь из Черного Бора? Выходите вперед!

– Мы здесь, – слышалось несколько голосов, и человек до двадцати тотчас выдвинулись из толпы.

– Хотите мне помочь? – спросил Печерин.

– Всею душой рады, Борис Алексеевич, приказывайте.

– Станьте же в ряд... Хорошо. Берите ведра; Кондратий



вас поведет к пруду и поставит для передачи воды. Кто ведра не достанет – иди ко мне.

– Полагаетесь ли вы на ваших крестьян? – вполголоса спросил Печерин, обращаясь к Вере.

– Думаю, что можно положиться. Они любят мамá.

– Кто васильевские? – крикнул Печерин. – Кто хочет помочь, выходи!

– Все хотим помочь, – отвечали из толпы, и опять выдвинулось около двадцати человек.

– Анна Федоровна и Вера Степановна просят вас оберегать все, что из дома вынесено.

– Будем хранить, охотно будем!..

– Станьте же вокруг. Чужих в круг не пускайте. Кто из вас старший?

– Староста Кузьма, – раздалось в толпе, – выходи!

– Теперь сами попросите Кузьму поставить круг, – сказал Печерин Вере.

Вера исполнила его желание, и васильевцы двинулись за Кузьмой.

В критические минуты массы чутко познают авторитет разумной воли и охотно ему поддаются. Вера могла заметить, что с первых слов Печерина он стал общепризнанной властью. В это время к нему подошел и распорядившийся на пожаре конторщик, а с другой стороны показалась подъезжавшая четвертая труба, высланная Суздальцевым из Липок.

– Иван Фомич, – сказал Печерин конторщику, – позвольте мне вам прийти на помощь. Я отведу Веру Степановну к ее матушке и к вам вернусь. Мне только хотелось бы с вами наперед условиться насчет действия труб.

Печерин отвел конторщика в сторону и, вполголоса переговорив с ним, возвратился к Вере.

– Доверяете ли вы Ивану Фомичу? – спросил Печерин и, получив утвердительный ответ, громко продолжал: – Теперь не откажитесь идти со мной. Я вас доведу до дома отца Пимена и постараюсь, по крайней мере, тем успокоить Анну Федоровну, что мы оба надеемся отстоять остальную часть дома. Ваши женщины пусть здесь остаются, а когда Кондратий придет с пруда, Василиса может ему сказать, чтобы он меня здесь же дождался.

– Скажу, скажу, Борис Алексеевич, – отозвалась Василиса.

Вера ничего не отвечала и как будто машинально повиновалась, когда Печерин взял ее под руку и с ней направился к церкви, близ которой находился дом священника. Васильевская церковь отстояла от усадьбы не более как на двести с чем-нибудь шагов, и по обеим сторонам ведущей к ней дорожки виднелись освещенные пламенем кучки крестьян; из их среды Печерин несколько раз слышал сочувственные слова: «Голубушка Вера Степановна!» Между тем он успел узнать от Веры, что к Степану Петровичу послан нарочный, что пожар приписывался поджогу, что если бы не сильный

ветер, то огонь не перешел бы на дом, потому что своевременно разломали галерею, и что все, что можно было наскоро вынести из дома, из него вынесено. Остальную подвижность, как сам Печерин видел, продолжали торопливо выносить.

Печерин вкратце сообщил Анне Федоровне успокоительные сведения о ходе пожара, торопливо переговорил с отцом Пименом и уходя сказал проводившей его Вере:

– Теперь вам следует озаботиться попечением о здоровье вашей матушки. Ей здесь оставаться нельзя. Ваш дом, во всяком случае на несколько дней, необитаем. Иван Фомич сказал мне, что Анна Федоровна не хочет занимать павильона или дома за павильоном, по ту сторону сада. Других удобных помещений нет. Уговорите вашу матушку тотчас переехать в Черный Бор, по крайней мере до приезда Степана Петровича.

– В Черный Бор? – повторила с изумлением Вера.

– Да, у меня, к счастью, устроена в этаже, где часовня, половина, предназначенная для гостей. Там никто вам мешать не будет.

– Мама́ ни за что не решится...

– Повторяю одно: ее здоровье этого требует! Уговорите. Отец Пимен вам поможет...

И, не дожидаясь ответа, Печерин вышел. В нескольких шагах от дома он встретил приехавшего из Липок Суздальцева, наскоро переговорил с ним, потом один возвратился

на пожар.

Действие четырех труб, при благоприятном направлении ветра, остановило распространение огня. Даже горевшая сторона дома была отчасти залита, когда спустя с небольшим полчаса времени пришел Суздальцев, успевший между тем убедить Анну Федоровну принять предложение Печерина и переехать в Черный Бор. Суздальцев согласился, по просьбе Печерина, отправиться вперед и в доме распорядиться, вместо хозяина, насчет приема неожиданных гостей; а со стороны Ивана Фомича уже были приняты на всякий случай меры для переезда. Сам Печерин хотел остаться на месте пожара до той поры, пока всякая дальнейшая опасность минует.

На следующий день приехал Сербин. Он благодарил Печерина за гостеприимство, оказанное жене и дочери, но сам уклонился, сказав, что нужные после пожара распоряжения требуют его личного присутствия, и возвратился в Васильевское. Между тем Печерин старался, чтобы его гости себя чувствовали, по мере возможности, как бы у себя. Он не докучал им своим присутствием и даже не пришел к обеду в их комнатах, пока Анна Федоровна не прислала его о том просить.

– Завтра мы уезжаем в Белорецк, – сказала Анна Федоровна, – и никогда не забудем вашего любезного соседства и гостеприимства. Степан Петрович решил, что мы в нынешнем году уже не вернемся в Васильевское. Бог знает, когда

мы с вами вновь свидимся; но повторяю, что будем вас помнить. Меня особенно тронуло то, что вы и в прошлую ужасную ночь подумали о том, что лично касалось меня. Василиса привезла мне и Вере все, что нам могло быть необходимо, и сказала, что вы даже не забыли о моем виде Дрездена и озаботились передачей его отцу Пимену.

– Нельзя было мне забыть, – отвечал Печерин. – Я помню, что имею от вас поручение в Дрезден.

– Это еще более любезно. Теперь у меня есть до вас просьба. Спешу ее высказать, потому что мы вас, у вас, почти не видим. Мне весьма хотелось бы увидеть часовню. Позвольте нам ее посетить.

– Охотно. Сейчас прикажу позвать настоящего хозяина. У него ключ.

Анна Федоровна и ее дочь с большим любопытством осмотрели часовню. Молитвенник на аналое остался непоказанным, под его парчовым покровом, и вообще, Печерин ничего не передал своим гостям из рассказанного ему Кондратием.

– Странно, – сказала Анна Федоровна, выходя из часовни. – Здесь хранится какая-нибудь тайна, до сих пор никем не раскрытая.

– Если есть тайна, – отвечал Печерин, – ее с собой увез Вальдбах.

– Вера давно желала увидеть часовню, – продолжала Анна Федоровна. – Всякий раз, когда нам случалось проезжать

мимо вашего дома, она смотрела на видную через окно лампаду и припоминала, что она четверть века горит одиноко на своем месте, как светящийся признак, что если тайна не раскрыта, то и не забыта. Много таких тайн в окружающем нашу жизнь, и между ними много таких, которым не посвящены горящие лампы.

Вера ни о чем Кондратия не расспрашивала, но долго смотрела в окно на погост. Она была молчалива, грустна, и Печерин заметил, что она старательно избегала разговора с ним наедине. Так было и утром, на другой день, до самого отъезда Сербиных. Степан Петрович приехал за женой и дочерью. Сходя с лестницы, он шел впереди с Анной Федоровной. Печерин следовал с Верой; улучив минуту спросить ее, чему приписать перемену в обращении с ним, он сказал:

– Вы знаете, что я должен уехать. После вас я здесь не останусь. Когда вас вновь увижу, одному Богу известно. Неужели вы на прощанье мне не захотите сказать доброго слова?

Вера молча взглянула на него, потом тихо ответила:

– Ничего, кроме доброго, я и не могу сказать. Я вас должна благодарить. Я знаю, что вам меня жаль.

## Х

– «Жаль!» – повторил несколько раз про себя Печерин, когда Сербины уехали. – Жаль! Это ей передала Марья Ива-

новна. Конечно, без дурного намерения. Она просто проговорила, желая доказать мои симпатии к ней, но произвела не то действие, на которое рассчитывала. Сердце Веры уязвлено, и я опять без вины виноват...»

Черноборский дом показался Печерину в тот день как будто в первый раз опустелым. Он не находил себе занятия, а мысль, что теперь уже нельзя ехать в Васильевское, еще усиливала ощущение тяготившего его одиночества.

Между тем после бывшей бури погода установилась и приняла обычные грустно-спокойные черты ранней осени. Тихо было в воздухе, и еще тише стало на земле. Поздно вечером Печерин вышел из дома и медленными шагами направился по дороге в Васильевское, до той ясеновой рощи, откуда, за два дня перед тем, становилось видно пламя пожара, потом повернул назад и, дойдя до ограды черноборской церкви, остановился. Небо было ясно; близкий к полнолунию месяц освещал дом и южную сторону церкви и кладбища; кругом лежали те резкие тени, которых не бывает при солнечном свете. Печерину послышались шаги около могилы жены Вальдбаха, и вслед за тем из-за ограды вышли Василиса и Кондратий.

– А! Ты все еще в гостях у меня, Василиса, – сказал ей Печерин, – ты и не торопись возвращаться в опустелое Васильевское.

– Завтра все-таки должна буду вернуться, Борис Алексеевич, – отвечала Василиса, – мне Анна Федоровна кое-что

там приказала. Нужно исполнить.

– И я скоро уеду, – продолжал Печерин. – Помни одно: когда соскучишься жить в Васильевском, для тебя всегда будет место в Черном Боре. Кондратию я сказал уж о том. Вас обоих Марья Михайловна на небе помнит. Мое дело – вас здесь, на земле, не забывать.

– Бог да благословит вас за то, что вы покойницу помните. Мы и сейчас на ее могиле за вас молились, и слышали, как заколыхались ветви тополя над нами. Должно быть, это она нас услышала и своей речью отозвалась. Покойники, известное дело, только воздухом могут говорить... Я, грешная, уж не отойду от Анны Федоровны и Веры Степановны, пока они меня сами не отпустят. Напрасно только вы, Борис Алексеевич, от нас уезжаете. Мы будем жалеть о вас и Бога молить, чтобы он снова привел вас к нам.

– Что будет, то будет в том Божья воля, – отвечал Печерин...

Тяжело живется труженику; порой нет ему досуга призадуматься над своей неволей; но подчас, как ни странно то сказать, нелегко бывает и человеку, ошастливленному золотым даром свободы. К нему имеет даже более широкий доступ та непрошенная, нежданная, упорная гостья, и имя ей – тоска. Внезапно ее появление, туманны ее черты. Она походит на облако, которое в солнечный день вдруг застилает солнце и на всю природу набрасывает унылую серую тень. Она кладет на грудь невидимую руку и ее захваты-



вает дыхание. Она гонит от вас всякую сколько-нибудь радостную, утешительную мысль, будит одни печальные воспоминания и томит неопределенным ожиданием какого-нибудь бедствия или горя. В такие минуты и часовой маятник как будто медленнее движется, а стучит громче и не дает слуху покоя. Эта самая гостья поджидала Печерина в его кабинете после возвращения с вечерней прогулки. Он еще утром решил спешить отъездом, но сознавал, что ехал неохотно, и был недоволен самим собой потому именно, что это сознавал. По-прежнему он не находил повода к упрекам совести; но между отъездом в Париж и возраставшим влечением к Вере Сербиной было противоречие, остававшееся тем не менее в полной силе.

«Судьба!» – повторял мысленно Печерин. Это слово часто подсказывается человеку в критические минуты жизни и сопровождается восклицательными и вопросительными знаками. На восклицательный отвечает душевное волнение; вопросительный долго остается без ответа.

Прощаясь с Суздальцевым в Липках, Печерин еще более убедился, из дальнейшего разговора с Марьей Ивановной, в справедливости своего предположения насчет сказанного ею Вере; но о смутившем его отзыве Веры он ничего не сказал и только заявил о намерении на этот раз направить свой путь через Белорецк, для свидания со своим поверенным, а перед выездом обещал навестить отца Пимена в Васильевском.

Отец Пимен принадлежал к числу тех сельских священников, которых вся жизнь – непрерывный подвиг терпеливого труда, кротости и смирения. Таких священников у нас более, чем многие думают, и было бы еще больше, если бы не были так тяжелы условия, в которые они слишком часто поставлены. Во время своего учебного образования будущий пастырь душ может легко выносить материальные нужды; он все-таки остается тогда в общении с себе равными и в сфере, соответствующей уровню его образования. С поступлением на место его положение меняется и в умственном отношении часто подходит под понятие об одиночном заключении. Сельская паства стоит на другом уровне, и полезное на нее воздействие требует несравненно большей умелости и большей стойкости характера. Общение с немногими другими прихожанами почти всегда ограничивается совершением треб. Сочувствия и ободрения с этой стороны мало. Скучные средства и недосуг не позволяют искать умственной пищи в уединенном единоличном труде. Оттого в течение времени происходит и постепенно упрочивается раздвоение духовного строя сельских пастырей. В иерейском облачении они еще стоят на твердой почве. Раз это облачение снято, они никакой почвы под собой не чувствуют; они становятся застенчивы, робки во внешних приемах и малоподвижны в области мысли. Но если им встретится человек, с кем, как говорится, можно «отвести душу» и кто окажет сочувственное внимание вне круга молебнов и пани-

хид, то в них легко пробуждается мыслящая отзывчивость. Так было с отцом Пименом. Он довольно часто виделся с Печериным, и приятное впечатление, произведенное при первом свидании, скоро упрочилось. Печерин относился к нему по привычке видеть за границей, как там относятся к лютеранским или латинским духовным лицам, и этот оттенок, весьма редкий у нас, был признательно оценен отцом Пименом. Он часто говорил с Печериным об Анне Федоровне Сербиной и ее дочери, заявляя свою искреннюю им преданность и сожаление о том, что благодаря Степану Петровичу мало с ними виделся. На этот раз пожар и его последствия были поводом к продолжительной беседе о Васильевском и его обитателях. Прощаясь с отцом Пименом, Печерин просил его, если бы случилось что-нибудь такое, что могло бы иметь для них особое значение, написать ему о том в Париж, и отец Пимен обещал эту просьбу свято исполнить.

В Белорецке Печерин два раза заходил к Сербиным, но безуспешно. Ему сказали, что Анна Федоровна нездорова и никого не принимают. У своего поверенного, Шведова, он встретился с Болотиным, который напомнил ему о свидании в Черном Боре.

– Мой визит вам был для меня неудачен, – сказал Болотин, – но, признаюсь, я не жалею о неудаче. Впрочем, я и не за себя потерпел неудачу. Хорошо вы делаете, Борис Алексеевич, что не поддаетесь покупателям, которые метят на ваш лес. Знаю, что вы от нас уезжаете; но вы можете ко-

гда-нибудь вернуться, а ваши добрые сосны между тем могут спокойно покачивать своими вершинами. Таких помещиков, как вы, жаль лишаться, хотя бы они и не всегда были налицо.

– Я бывал до сих пор часто без вины виноват, – отвечал Печерин, – а здесь, кажется, я без всякой заслуги пользуюсь сочувствием.

– Так говорят только те, за кем есть заслуга, – продолжал Болотин. – Вы можете не бояться пожаров...

– Кстати, и дом каменный, – заметил Шведов.

– Хотя б и не был каменным, – сказал Болотин. – Поверьте, Борис Алексеевич, мы со Шведовым люди местные и во многом действуем заодно, хотя и сидим в разных управах. Мы знаем, какие за кем шансы. Ни Пичугину, ни даже моему пресловутому приятелю Сербину я бы этого не сказал.

– Неужели в Васильевском, вы думаете, был поджог? – спросил Печерин.

– Доказательств, конечно, нет, – отвечал Болотин, – но сам Сербин в этом не сомневается.

– Легко, однако, на помине наш Степан Петрович, – сказал сидевший у окна Шведов. – Он только что прошел мимо нас, и опять с Подгорельским.

– С Подгорельским? – повторил Болотин, заглянув в окно. – Нечего сказать, молодец Прасковья Семеновна!

Печерин вопросительно посмотрел на своих собеседников.

– Вы, быть может, желаете знать, почему я величаю Прасковью Семеновну молодцом? – сказал Болотин. – Дело в том, что Сербин, собственно, не имел бы повода быть любезным с этим молодым человеком; но Прасковья Семеновна сумела так устроить дело, что он с ним даже любезен. Пока я сам еще не могу постичь, как это ей удалось, но позже узнаю.

Печерин должен был уехать в тот день с вечерним поездом. Его тревожила и огорчала мысль, что до отъезда он не свиделся с Верой. Выходя от Шведова, он не совсем сознательно повернул в ту сторону, где жили Сербины. Наскось, против их дома, была церковь, и Печерин заметил, что оттуда выходит Вера с горничной ее матери. Печерин успел также заметить быстрые перемены в ее лице. Она вдруг побледнела, потом вспыхнула и снова сделалась бледной; на одно мгновение, как бы в нерешимости, она остановилась, но потом пошла прямо к нему навстречу.

– Вера Степановна, – сказал Печерин, – я вижу, в добрый час привелось мне встретить вас. Не мои дела, конечно, меня сюда привели. Я думал, не увижу ли я вас. Мне тяжело уехать под впечатлением последних слов, которые я от вас слышал. Вы не должны были сами верить своим словам.

– Я не сказала бы их, если бы не верила, – тихо ответила Вера и, наклонив голову, сделала движение вперед.

– Но, по крайней мере, вы теперь не верите!

Вера медлила ответом. Печерин повторил вопрос.

Она взглянула ему прямо в глаза и отвечала:

– И теперь не могу не верить.

– Вера Степановна, – продолжал Печерин взволнованным голосом, – не огорчайте меня напрасно. Я уезжаю, потому что должен уехать. Но когда я вернусь, скажете ли вы мне, что перестали верить?..

Вера остановилась, протянула руку Печерину и нерешительно проговорила:

– Когда вы вернетесь... быть может, скажу... Вам тогда уже не будет жаль...

Она еще раз наклонила голову в знак прощанья и направилась к дому.

Под впечатлением минуты человек склонен не давать себе ясного отчета в значении своих слов; Печерин смотрел вслед Вере и размышлял только о том, что она ему сказала, но не подозревал, что в его собственных словах заключалось связавшее его обещание.

## XI

Со дня отъезда Печерина прошло около двух месяцев. Белорецк тонул во мгле темного и сырого октябрьского дня, и на улицах в ранний утренний час не заметно было почти никакого движения, когда Болотин зашел к Шведову и сказал, что желал бы с ним переговорить и посоветоваться по частному вопросу, который его заботил.

– Что случилось, Антон Иванович? – спросил Шведов. –

Я уже давно замечаю – вы что-то скучны, беспокойны и даже говоря о делах, явно думаете о чем-то другом, что до дел не касается.

– Нет, вы ошибаетесь; меня-то, к сожалению, и касается то, о чем я думаю, – отвечал Болотин, – хотя и не материально, на первый раз, а, так сказать, с нравственной стороны. Все – благодаря Сербину. Вы знаете, что я до некоторой степени в руках у него. Обязательства ролят обязанности. Если бы я не был связан, то давно бы с этим человеком не имел дела. Он – из тех, кто с течением времени переходят от худого к худшему. Потому связь становится более и более неприятной.

– Опять какие-нибудь хлопоты из-за Прасковьи Семеновны?

– Есть и то, но есть и хуже. С тех пор как я имел неосторожность ему доказать, что их отношения всем известны, он гораздо менее совестится и стал менее осмотрителен в своих поступках; а с тех пор, как она сумела его уверить, что виделась и переписывалась с Подгорельским только потому, что он пригодный жених для Веры Степановны, положение дочери в доме и отношения к отцу стали просто неприятны. Вы себе вообразить не можете, как его обхождение с ней изменилось. Бедная Анна Федоровна долго не проживет. Что тогда будет с дочерью?

– Как – что будет? Неужели вы думаете, что если бы – чего не дай Бог – Анны Федоровны не стало, Сербин мог бы

жениться на этой проходимке?

– Я в этом убежден. Вы знаете поговорку относительно седины и ребра. Когда свихнется человек с упорным характером, и человек притом бывалый, то он быстро катится под гору. Удерживать нет. Сербин спешит теперь перед залогом Васильевского, потому что имение куплено за счет и на имя жены, а ею завещано дочери. Для чего, вы думаете, спешить ему? Не возмутительно ли, что он предвидит смерть жены и принимает свои меры? Он торгует Симановские хутора для Прасковьи Семеновны. И все это на моих глазах и при моем участии! – потому что я не могу ни отказаться от делового участия, ни даже сказать ему, что я насквозь вижу его побуждения.

– Да, это вас должно тяготить.

– Но главного, Иван Матвеевич, я еще не сказал вам, – продолжал Болотин. – Вчера за мной присылала Анна Федоровна. Я давно не видел ее и ужаснулся перемене ее лица. Вы не угадаете, почему и для чего она меня призывала. Она знает, что я поневоле пособник ее мужа по его делам, знает, что эта неволя продолжается, и, несмотря на то, доверчиво обратилась ко мне с просьбой, на случай ее смерти, быть ее душеприказчиком и опорой для Веры Степановны!

Шведов несколько призадумался, потом сказал:

– Что ж! Это значит, что она вас знает лучше, чем Степан Петрович.

– Она мне и сказала, что хорошо меня знает. Она на-



помнила мне два случая, когда она была свидетельницей неприятных сцен между ее мужем и мной, и я оба раза был прав, потому что, несмотря на раздражительные и заносчивые приемы Сербина, я постоянно защищал против него правое дело. Она сказала, что лично меня уважает, имеет доверие ко мне и потом прибавила, что чувствует – дни ее сочтены; она не имеет здесь ни родных, ни близких друзей, не желает упоминать об обстоятельствах, которые мне известны и тревожат ее за будущность дочери; она умрет спокойнее, если я пообещаю исполнить ее просьбу. На меня так подействовали и болезненный вид этой бедной женщины, и выражение ее лица, и волнение в голосе, и слезы, выступившие на ее глазах против ее воли, наконец, и самая неожиданность ее обращения ко мне, что я, на первых порах, сам взволновался и не мог отчетливо проговорить ни одного слова. Но она, вероятно, меня поняла, потому что ласково протянула мне руку и, повторив просьбу, прибавила, что знает мое положение, знает, что требует от меня риска, быть может, и жертвы, но, тем не менее, просит меня.

– Что же сделали вы, Антон Иванович, какой дали ответ?

– Я сказал, что, конечно, исполню ее волю.

– Это вы отлично сделали... Но в чем же теперь вопрос?

– В моем положении относительно Сербина. Сегодня Анна Федоровна ожидает отца Пимена из Васильевского. Она к нему имеет полное доверие, и он с пастором Браунном из Краснозерска – свидетели по ее завещанию и допол-

нительной записи. Завтра она меня вновь ожидает, сказав, что я должен видиться с ее дочерью и принять от нее на хранение деньги, принадлежащие дочери. Согласитесь, что все это как две капли воды похоже на заговор против Сербина!

– Понимаю, – это должно вас весьма тяготить. Но могли ли вы избежать положения, в которое вы теперь поставлены? Отказать Анне Федоровне вы не могли...

– Тем более не мог, что она произвела на меня, повторяю, потрясающее впечатление. Мысль, что ей суждено вскоре умереть, меня с тех пор преследует. Она даже не могла привстать с кушетки, когда меня приняла. Доктора говорили, что при упадке ее сил она не выдержит нового обострения болезни, а опасность к тому имеется. Со дня возвращения сюда после пожара в Васильевском она, так сказать, постоянно между жизнью и смертью, потому что воспаление печени, которое тогда обнаружилось, все еще грозит возобновлением. Всякое душевное волнение на нее действует. Вообразите себе, что скажет Сербин, если она умрет и тогда окажется, что ее последняя воля передана мне, а не ее мужу.

– Вам все-таки нельзя предупреждать Сербина.

– Знаю, что нельзя. Меня особенно тревожит мысль, что я вынужден буду стать опорой дочери против отца. Предвижу разные осложнения. По крайней мере, считаю их возможными. Уже теперь есть признаки, что стараются Вере Степановне навязать Подгорельского. Он бывает у Сербина. Вера Степановна защищается от неприятных ей встреч болез-

нюю матери; но Прасковья Семеновна явно идет на то, чтобы дочь сбыть с рук. Она предвидит, что для нее в доме скоро очистится место. Представьте себе, что из всего этого может произойти!

– Да, быть может, и ничего еще не произойдет, Антон Иванович. Бог милостив – и сохранит жизнь бедной Анне Федоровне. Вы теперь все видите в черном свете после свидания с ней. Это естественно, но ваши опасения могут и не оправдаться.

– Поверьте, Иван Матвеевич, не напрасно мне все в таком свете видится. Во всяком случае, мне хотелось заручиться вашим сочувственным отзывом, чтобы самого себя несколько успокоить. Изменять моих отношений к Сербину я теперь не буду. Они еще нужны для того, чтобы двум бедным женщинам помочь по мере сил, когда к тому настанет время. Но предвидеть разрыв с ним и к тому подготовиться – нужно. Так и сделаю.

Спустя несколько недель Печерин получил в Париже два письма, которыми оправдывались опасения Болотина насчет Анны Федоровны. В одном из этих писем Шведов сообщал, в дополнение к предшествовавшему извещению о бывшем в Васильевском вторичном пожаре, происшедшем по неосторожности рабочих и разрушившем весь дом: «весть об этом пожаре так сильно потрясла бедную Анну Федоровну, что возобновившееся воспаление печени имело быстрый

смертельный исход». Далее Шведов писал, что ее душеприказчиками назначены отец Пимен и, к общему удивлению, Болотин; что, во исполнение воли покойной, Вера Степановна должна выдать Болотину же доверенность по управлению Васильевским и что по этому поводу произошел между Сербиным и Болотиным разрыв, который для последнего может сопровождаться весьма неудобными результатами. В письме отца Пимена заключались трогательные подробности о кончине Анны Федоровны, о ее погребении в Васильевском, по ее желанию, и об отчаянном горе Веры. Отец Пимен упоминал, кроме того, о прискорбных отношениях отца и дочери и о происходившем между ним и Сербиным тяжелом объяснении, при котором он был вынужден заявить Сербину, что, в случае встречи затруднений с его стороны к точному исполнению завещательных распоряжений покойной Анны Федоровны, он, отец Пимен, будет поставлен в необходимость объяснить кому следует истинные поводы к этим распоряжениям. Ни в том, ни в другом письме не упоминалось прямо о г-же Криленко; но отец Пимен и Шведов оба знали, что прямого упоминания и не требовалось.

Всякое известие из чернорборской или белорецкой местности волновало Печерина и оживляло воспоминания и чувства, которые обыденный недосуг парижской жизни был бессилен заглушить. На этот раз еще более обострился смутный разлад между сердцем и волей. Печерин сознавал себя чуждым среде, в которой теперь находился, сознавал постоянное

влечение к той, другой среде, которую для него создала Вера Сербина, но продолжал колебаться и жить изо дня в день, ни на что не решаясь.

## XII

В музее Лувра, куда Печерин зашел с новоприезжим русским, он заметил в числе посетителей человека пожилых лет, высокого роста, худощавого, с длинными седыми усами, который пристально смотрел на него, но прошел в другую залу, когда их глаза встретились. Вечером Печерин нашел у себя оставленную в его отсутствие визитную карточку, на которой значилось: «Барон Вальдбах. Hôtel du Rhin».

Печерин долго стоял неподвижно, держа карточку в руке и перечитывая ее. Это имя в одно мгновение сопоставило в его памяти и прежний Черный Бор, с судьбами баронессы и барона Вальдбахов, и нынешний – с образом осиротелой Веры. На этом образе остановилась мысль Печерина, беззвучно подсказывая ему вопрос за вопросом. Что было с Верой теперь? Что будет далее? Когда вернется он сам в Черный Бор, или будет в Белоречке, и какой ответ даст ему Вера тогда? Но почему или для чего Вальдбах желал его видеть?

На другой день Печерин зашел в Hôtel du Rhin, но барона не застал. Минул еще день; наступило воскресенье. По окончании службы в русской церкви знакомые несколько

задержали Печерина в церкви; выйдя на улицу, он заметил, что кто-то его ждет.

– Борис Алексеевич, – сказал этот господин, подойдя к Печерину, – я Вальдбах. Сожалею, что вы меня третьего дня не застали. Я, собственно, для того в Париже, чтобы вас увидеть и благодарить.

– Не заслуживаю никакой благодарности, – отвечал Печерин, крепко пожав протянутую ему руку, – но скажу искренне, что рад с вами встретиться! Назначьте час, в который я мог бы застать вас дома.

– Свободны ли вы теперь? Мы могли бы вместе дойти до Hôtel du Rhin, и если вам досужно, то и зайти ко мне.

– Охотно, иду с вами.

– Благодарю вас за все, что вы делали и сделали в Черном Боре. Знаю все. Еще на днях я получил письмо от доктора Францена, который там был после вас. Благодарю не только за себя, но и за ту, чью могилу и память вы так почтили...

Вальдбах на минуту смолк, а потом пониженным голосом продолжал:

– Я вдвое старше вас, Борис Алексеевич, и считаю возможным говорить с вами прямо, без фраз, без всяких *précautions oratoires*, потому что в вас уверен. Есть признаки, которые никогда не обманывают. По вашим поступкам я уверен в том, что вас знаю и что вы меня поймете. Без впечатлительности прочной, а не минутной, то есть без теплого сердца, не поступают так, как вы. Повторяю – я знаю все,

что могли о вас знать в Черном Боре; знаю, что вы никому не передали сказанного вам Кондратием; знаю также, что вы несколько раз обо мне спрашивали, но никаких сведений не могли получить.

– Весьма естественно, что я о вас осведомлялся, – сказал Печерин, – и справедливо то, что положительно ничего узнать не мог.

На пути к Hôtel du Rhin Вальдбах рассказывал Печерину, что на первых порах по выезде из России жизнь была для него таким бременем, что хотя у него и были родные в Германии, но он беспрерывно менял место жительства. Когда вспыхнула восточная война пятидесятых годов, он отправился прямо в кавказскую армию, поступил на службу, был тяжело ранен при штурме Карса, в одно время с генералом Кауфманом, пролежал несколько месяцев в госпиталях, потом оставил службу, снова уехал за границу; после того он только один раз был в России на короткое время и тогда именно посетил, поздно вечером, Черный Бор, как о том Кондратий говорил Печерину.

– Мой след мог легко простыть там, – продолжал Вальдбах. – Я полуиностронец. Мой отец служил в России, и я в ней вырос и воспитан. У меня есть однофамильцы в остзейском крае; но я почти никого из них не знал. Мы – из Вестфалии. Мой старший брат неожиданно наследовал майорат близ ганноверской границы, и после его смерти я долго был нужен его детям и моей невестке. Вы, может быть, спросите,

для чего я преднамеренно окружил себя какой-то таинственностью и не давал о себе вести. Откровенно отвечаю, что это сделалось без всякого намерения, так сказать, само собой. Сначала, пока Черный Бор был в руках убийцы, эта местность была мне нестерпима. Впоследствии, когда имение перешло к Северцову, я с ним, как вам известно, сносился; но по прошествии стольких лет мне не хотелось будить заснувшее прошлое, дать повод к толкам обо мне, и не обо мне одном. Время шло; обстоятельства не изменялись...

– А теперь? – спросил Печерин.

– Теперь... Вы видите, что я вас искал...

Между тем собеседники вошли в комнаты Вальдбаха в Hôtel du Rhin.

– Пройдите в мою спальню, Борис Алексеевич, – сказал Вальдбах, отворяя туда дверь. – Вы там вспомните о Черном Боре.

У изголовья постели Печерин увидел акварельный портрет покойной жены Вальдбаха, над ним – складень с изображением Богородицы, а под ним набросок карандашом, представлявший вид черноборского дома со стороны часовни. Долго Печерин не мог оторвать взгляда от портрета. Краски настолько удержали свои оттенки под защитой стекла, что цельность впечатления не нарушилась. Лицо казалось только покрытым легкой дымчатой пеленой, и сохранившееся кроткое, глубоко задумчивое выражение глаз мгновенно привело на память Печерину предсмертную просьбу покой-



ницы – не мстить! Всмотриваясь в портрет, Печерин невольно вспомнил и о том, что Вере Сербиной приписывали сходство с покойной Марьей Михайловной. Он сам не находил такого сходства в чертах лица, но выражение глаз на портрете действительно напоминало ему прощальный взгляд Веры у белорецкой церкви.

Возвратясь в кабинет Вальдбаха, Печерин ничего не сказал ему о портрете и, прямо заговорив о складне, заметил, что он теперь не удивляется встрече с бароном в православной церкви.

– Когда вы меня ближе узнаете, Борис Алексеевич, – отвечал Вальдбах – то увидите, что я – гражданин христианского мира и смело говорю, что причисляю себя к трем церквям. Я лютеранин по рождению и воспитанию, но отчасти и православный, и римско-католик. Когда-нибудь поговорим об этом, а теперь скажу только, что месяцы страданий в госпиталях, страданий и нравственных, и физических, не прошли для меня даром. Они, в известном смысле, сломили меня, но не надломили. Они если и не довершили, то подготовили постановку моего взгляда на жизнь, а взгляд на жизнь не устанавливается без определенного взгляда на область верований.

– Счастлив, кто так может говорить, – сказал Печерин, – хотя странно применять к вам слово «счастлив»!

– Действительно, может казаться странным, – медленно проговорил Вальдбах, – но вместе с тем это и не странно.

Все в человеческой речи условно. Вы скажете же про моряка, который всего лишился при кораблекрушении, но выброшен волной на берег, когда другие погибли, что он счастлив, потому что остался в живых. Вот я именно и остался в живых.

– Вы, однако же, признаете, что страдания вас сломили.

– Да, они сломили прежнюю жизнь, но не надломили сил.

Помните ли стихи:

Без цели не даны ни радость, ни страданье;

Есть в счастье заповедь, в печалях есть призванье.

Смиренно вознося мысль к Богу твоему,

Не спрашивай: «Господь! за что?» Спроси: «К чему?»»

– С тех пор как я покорился призыву и принял призвание – я спокоен духом. С тех пор и время над духом бессильно. Оно для него остановилось в день перелома. В старике сердце и мысль те же, что четверть века тому назад. Разбито и взято то, чем я прежде жил. Но есть другая жизнь. Там восстановится, что в здешней разрушено. В этой уверенности – твердая опора. Как я молюсь в трех церквях, так и живу тройной жизнью: утешение – в прошлой, надежды – в будущей, труд – в нынешней. Вы помните надпись на памятнике в Черном Боре? А помните ли стихотворение, откуда она взята?

– Я напрасно искал подлинника. Лонгфелло говорит, что это перевод из Пфицера. Но в Пфицере я его не нашел.

– И я не находил. Потому надпись на английском языке. Мою мысль привлек контраст между первой строфой

и последними, на которых я остановился. Не мог я, конечно, сказать, что я light hearted и content, но идеи молодости и безучастного кочевания были применимы ко мне. Притом в безучастии есть своего рода спокойствие, а вы знаете, что, по мнению философов и физиков, всякое желание и всякое движение есть не что иное, как поиски за покоем.

– Но ваше призвание, – решился спросить Печерин, – может ли мириться с безучастием?

– Сегодня я этого предмета желал бы не касаться, – отвечал Вальдбах. – Мы с вами, надеюсь, будем видеться, хотя на этот раз я в Париже не надолго. Позже я возвращусь. Быть может, вы найдете досуг навестить меня послезавтра вечером, в час театров. Я там не бываю, и вы у меня встретите одного из моих полусотоварищей по призванию.

– Непременно буду, – сказал Печерин.

– Сегодня, – продолжал Вальдбах, – во мне преобладает Черный Бор, и мне хотелось бы расспросить вас о некоторых частностях; Францен не в состоянии давать мне обстоятельных ответов на все, хотя по временам пишет мне и раз в каждые два или три года приезжает куда-нибудь в Германию для свидания со мной.

Ни один из вопросов барона Вальдбаха не касался хозяйственной части. Печерин вообще заметил, что мысль его собеседника занимало только то, что имело какое-нибудь отношение к покойной Марье Михайловне, и всякий раз, когда Вальдбах произносил ее имя, в его голосе слышалось движе-

ние, как бы понижавшее звук, хотя в выражении лица не было видно перемены.

При прощании Вальдбах снова благодарил Печерина и напомнил ему о данном обещании быть через день после того, в вечернее время.

### ХІІІ

– Вы аккуратны, – сказал Вальдбах, когда Печерин вошел к нему в условленные между ними день и час. – Вы опередили того, с кем я желал вас познакомиться.

– Я тогда не спросил, кто это, – отвечал Печерин.

– Это д-р Ричард Кроссгилль. Он англиканского исповедания, но по духу принадлежит к вашей церкви – православной. Это сблизило меня с Кроссгиллем. Поводы, которые привели нас обоих к крутому повороту в жизни, были неодинаковы, но раз поворот совершился – пути могли легко сойтись. Мы оба в одно прекрасное утро – обыкновенно, такие утра не называются прекрасными, хотя, быть может, напрасно не называются так, – мы оба, говорю я, убедились, что с жизнью для самих себя покончили и что следовало теперь найти себе другую цель. Общее между Кроссгиллем и мною состояло в разрыве с прошлым. Различие в том, что от меня оно было оторвано, а он сам от него оторвался. Кроссгилль занимал в Оксфорде почетное и выгодное место и принадлежал к числу так называемых университет-

ских проповедников. У него есть брат, который также состоял членом университетской коллегии, пользовался известностью и перешел в латинство по следам Ньюмана и Роберта Вильберфорса, но позже них. Этот переход решил судьбу д-ра Ричарда. Он был свидетелем духовной борьбы, происходившей в брате, сам убедился в недостатках англиканства, но не захотел подчиниться духовной неволе римской церкви, стал ближе изучать вашу церковь и, наконец, остановился, как я, на чувстве принадлежности к трем церквям вместо одной. Он отказался от своих должностей и теперь только номинально считается принадлежащим к англиканскому духовенству.

– Вас, вероятно, сблизил какой-нибудь неожиданный случай? – вопросительно сказал Печерин.

– Была случайность, и весьма обыденная, – отвечал Вальдбах. – Мы провели вместе около двух дней на пароходе; нас познакомил один из наших дипломатов, а вслед за тем мы прожили несколько недель вместе в Риме. Оказалось, что мы преследовали в жизни почти одни и те же цели; а когда я убедился, что он стоял выше меня и был деятельнее, чем я, то это убеждение еще более утвердило меня в решимости идти тем путем, по которому я шел еще до встречи с ним.

– Я пока не вижу, почему вы ставите д-ра Кроссгилля выше себя.

– И это мне объяснить не трудно. Я уже вам сказал, что ме-

ня оторвали от моей личной жизни, а Кроссгилль сам от своей оторвался. Он вступил на новый путь прямо по призванию, а я – под гнетом несчастья и подавляющего горя. Я искал и нашел утешение и опору. Он не искал их, а прямо взялся за исполнение того, что признал своим долгом. Ему не было надобности из прежней его жизни сохранять то, что у меня должно было сохраниться. Я вам, кажется, уже говорил, что для меня жизнь остановилась на точке перелома. Но она не угасла; она и теперь продолжает свое существование в моей памяти. Те черты, которые изображены на виденном вами портрете, мне постоянно присущи. Умершая для других, она не умерла для меня. Мы только разлучены. Я ее вижу: она не изменилась и не постарела, как я. Я говорю с ней; она мне отвечать не может, но я уверен, что она меня слышит. Она говорит со мною в тех письмах, которые я сохранил и перечитываю. Когда я бываю дома, в моем тихом уголке в северной Вестфалии, я окружен предметами, ей некогда принадлежавшими, и все это, ни для кого другого не имеющее значения, имеет неоценимое значение для меня. Я воображаю себе, что хотя на земные дела там смотрят иначе, чем здесь, но она и там одобряет мои хорошие поступки и сожалеет о моих ошибках. Поверьте, в этом для меня и сильный рычаг, и сильная узда. И кроме того, какой-то нездешний свет разлит на моем пути. Колебаний мало. Как лампадка в черноторской часовне, так одна мысль, одно имя постоянно светят в глубине моей души. Стоит только оглянуться,

всмотреться в них, и я знаю, куда идти.

Вальдбах говорил с возрастающим одушевлением, но вдруг остановился, понизил голос и, с улыбкой взглянув на Печерина, продолжал:

– Вы видите, что я легко увлекаюсь. Я все говорю о себе, а имел в виду говорить о Кроссгилле. Он потому выше меня, что идет своей прямой дорогой без «рычага и узды», которые даны мне. Его опора – вера; его рычаг – покорное исполнение долга. Притом он вовсе не суровый аскет, хотя в его наружности вы можете найти аскетические черты. Впрочем, вот и он сам...

Печерин с любопытством смотрел на вошедшего д-ра Кроссгилля, и когда Вальдбах представил их друг другу, то Печерин заметил, что и на нем на одно мгновение остановился испытующий, но спокойный взгляд нового знакомого. Спокойствие было господствующей чертой и в общем выражении бледного лица англичанина. Лишь по временам, в продолжение беседы, внезапно оживлялись его впалые темно-синие глаза, и судорожное движение губ вторило этому оживлению.

Вальдбах упомянул, говоря о своей первой встрече с Печериным, о том, что Печерин не ожидал его увидеть в нашей церкви.

– Вы и со мною могли бы там встретиться, – сказал Кроссгилль, обращаясь к Печерину, – если бы я знал ваш язык и, кроме того, если бы моя одежда не была поводом к обраще-

нию на меня излишнего внимания. Впрочем, я бывал в ваших церквах и знаю ваши службы по немецкому переводу.

– Я часто слышал, – заметил Печерин, – что торжественность наших обрядов производит впечатление на многих иностранцев.

– Да, ваши обряды соответствуют идее богослужения, – отвечал Кроссгильд, – но на меня более прочное впечатление произвел текст, или, точнее, писанный чин, ваших служб, потому что существенная доля богослужения происходит в алтаре и частью не видна или не слышна молящимся в церкви. К блеску внешности я вообще мало восприимчив и в Риме имел случай не раз в том удостовериться. Торжественность есть и в англиканских обрядах, например, при рукоположении епископов; но вообще, мне кажется, что настроение, с которым человек входит в Божий храм, имеет более решительное значение, чем все изменчивые впечатления, какие производятся церковными обрядами.

– Вы совершенно правы, на мой взгляд, – заметил Вальдбах. – Я вхожу во всякую христианскую церковь с одинаковым чувством благоговения, и в простой деревенской церкви мне случалось быть лучше настроенным к молитве, чем в каком-нибудь кафедральном соборе или в Сикстинской капелле.

– И я понимаю и разделяю ваши чувства, – сказал Печерин. – К сожалению, должен только признаться, что до сих пор я редко пользовался случаем к таким впечатлениям.



– То есть вы редко входили в церковь, – отвечал Кроссгиль. – Так обыкновенно бывает в ваши годы, хотя напрасно. Впрочем, время сделает свое дело, и вы будете бывать чаще, лишь бы сохранилось в вас то обобщающее чувство, о котором вы упомянули. Смотря на вас и припоминая то, что мне о вас сказал барон Вальдбах, я надеюсь, что вы когда-нибудь пристанете к нашему союзу или нас замените, когда нас не будет.

– Слишком много чести для меня, – сказал Печерин. – Не сознаю в себе способности сделаться проповедником.

– Проповедником чего?

– Судя по тому, что мне сказал барон, – проповедником единения церквей.

– Не совсем так. Мы поставили себе задачей быть проповедниками христианских верований вообще и затем не единения церквей, а мира между церквями. В этом есть существенное различие. Проповедовать единение следовало бы прямо и догматически, на что барон не имеет права и чего я делать не властен по моему званию. Это – дело будущего. В настоящем нужно подготовку почвы, а проповедью мира она готовится.

– Разве это не одно и то же? – спросил Печерин.

– Одно – относительно цели, не одно – относительно средств, – отвечал Кроссгиль. – Различие большое в приемах. Один – положительный или утвердительный, другой – отрицательный. При положительном вы ставите тезис и вы-

зываете вопрос о вашем праве на его постановку. При отрицательном вы перебрасываете вашему противнику *onus probandi*. Спросите барона: какое простое правило мы оба, не сговорившись, приняли к руководству?

– Правило состоит в том, – сказал Вальдбах, – что, когда мне говорят, становясь на точку зрения розни, *вы* и *мы*, я становлюсь на точку зрения единства и отрицаю подразумеваемую противоположность местоимений, то есть я отрицаю ее в существенном и признаю только в виде частных или оттенков. Тогда обыкновенно стараются, в опровержение меня, преувеличивать значение различий, а мне дают повод это значение умять. Притом я никогда не спорю с иноверцами и не стараюсь поколебать их уверенность в превосходстве их верований; но когда говорю с протестантами, то смело упрекаю их в самомнении и нетерпимости к другим исповеданиям.

– В таком случае, не позволите ли вам сказать, – отвечал Печерин, – что вы, в сущности, уже перестали быть протестантом?

– Я сказал вам, – продолжал Вальдбах, – что мы оба считаем себя принадлежащими к трем церквям, следовательно, ни к одной исключительно. Я убежден, что будущее единение должно состояться на вашей почве более, чем на нашей, потому что ваша старше и шире, и более, чем на латинской, потому что на вашей более духовной свободы, но и не без примеси наших взглядов и обычаев, потому что

у нас нет той кристаллизации, которую вы у себя допустили, и нет того постоянного противоречия с жизнью, которое есть следствие кристаллизации. Повторяю, однако же, что считаю умиротворение нынешней вражды необходимым условием окончательного успеха.

– Неужели вы его считаете возможным? – спросил Печерин.

– Я поставлю вам другой вопрос, – сказал Кроссгиль. – Признаете ли вы умиротворение делом добрым и угодным Богу?

– Без сомнения, признаю.

– Тогда какое право имеете вы сомневаться в успехе? Разве с вами не будет силы, перед которой всякие другие силы ничтожны? Припомните сказанное в Евангелии о том, как растет брошенное в землю семя, и о том, что пожинает не тот, кто сеет. Не жатва, а посев наше дело. Припомните вековое чудо распространения христианства. Оно не победило бы язычества, если бы христианские мученики усомнились в победе. От нас не требуется мученичества. Требуется только мирная служба Богу словом и примером. Разве то и другое так трудно? И разве то и другое может быть тщетным? Испытайте, вы скоро убедитесь в противном. Слово, спокойно и миролюбиво сказанное, западает, по крайней мере, один раз из десяти в сознание того, кому оно сказано. Пример еще чаще в нем оставляет след. Вам он может не быть заметным, но он остается. *Gutta cavat lapidem non*

vi, sed saepe cadendo. Только не ожесточайте раздражительным противоречием. Кротость приемов обезоруживает одних, привлекает других. Никогда не одобряйте никакого религиозного гнета. Но где есть гнет и вы против него можете сказать слово, пусть оно будет вами сказано. При встрече с искренне верующими, но конфессионально односторонними, вам всегда можно будет указывать на солидарность всех христианских интересов и на выгоду, которую наши раздоры предоставляют проповедникам безверия. Тогда именно полезно то умаление различий, о котором упомянул барон Вальдбах. На вопрос, в чем эти различия могут влиять на исполнение нашего долга в здешней жизни и на осуществление наших надежд в будущей, вам не дадут ответа, а затруднение отвечать почти всегда произведет впечатление на собеседника. Если же вы заметите, что впечатление произведено, не продолжайте разговора. Люди вообще неохотно дают себя убеждать другим, но способны сами убеждаться, если только способны и склонны размышлять. Заброшенное слово имеет свою тяжесть и этой тяжестью доходит до глубины души. Мы оба, Вальдбах и я, стали чужды свету в обычном значении этого слова; но мы живем в свете и в постоянном общении с людьми, чтобы исполнять свое призвание. Не всегда с успехом, конечно, но тогда я говорю про себя: «Domine, meum feci».

– Слушая вас, – сказал Печерин, – трудно не убеждаться; и мне кажется, что я могу обойтись даже без собственно-

го додумывания. Но позвольте вопрос. Каких собеседников избираете вы себе в свете предпочтительно перед другими? Или, точнее, на кого вы больше рассчитываете, чем на других?

– Во-первых, на всех без различия, в ком какое-нибудь горе усилило интенсивность религиозного чувства; во-вторых, на женщин, если светская мишура их не обезличила; в-третьих, на людей средних или даже молодых лет, в ком заметно внимание к религиозным вопросам. Старшие поколения малоподатливы – они очерствели или самодовольны.

– Вы не упоминали о лицах духовного звания.

– Вы правы. Следовало упомянуть. Они связаны своим положением. В отношении к ним я обыкновенно ограничиваюсь парафразом одного текста: «блаженны миротворцы». Далее можно идти только при случайных условиях взаимного доверия и полной искренности, и, кроме того, при той интенсивности религиозного чувства, которая мирится со свободой мысли. Из десяти протестантских клериков едва один решится прямо высказаться; из латинских – один из сотни. Ваших я не знаю.

Печерин вспомнил об отце Пимене, но ничего не сказал.

– Я еще одного не договорил, – продолжал Кроссгиль, – хотя упомянул о том, что мы считаем себя призванными к христианской проповеди вообще, насколько она в светском обиходе возможна, не систематично, не назойливо, отрывочно – но все-таки возможна. События дня часто дают повод

касаться в разговоре религиозных вопросов. «Ритуализм» – у нас в Англии, «культуркампф» – в Германии, «антиклерикализм» – здесь и в Италии одинаково пригодны для заявления наших взглядов. Кроме того, и в сферах частной жизни вокруг нас так много страданий и явных или затаенных печалей, что нередко представляется случай упомянуть, без всякой аффектации, о том, что на земле есть только один надежный, верный, никогда не изменяющий источник утешений и нравственной силы. А когда об этом источнике завяжется речь, то почти всегда представляется и возможность к обобщениям умиротворяющего свойства...

– Доказательством того, что это действительно возможно, как выразился Кроссгилль, без аффектации, – добавил Вальдбах, – вам может послужить следующее. Я скоро уеду; но с Кроссгиллем вы еще не раз встретитесь в здешних салонах. Справьтесь о нас. Вам никто не скажет, что мы ведем религиозную пропаганду, но, вероятно, всякий скажет, что Кроссгилль – знаток классиков и немецкой литературы, а я занимаюсь метеорологией и орнитологией. Той другое – правда. Между тем нам обоим иногда приводится уже слышать бессознательное повторение наших отзывов, даже ссылки на них и замечать некоторую перемену в тоне речи тех, кто на нас ссылается. Поверьте собственным опытом то, что мы говорили. Во всяком случае, вам можно будет сказать себе, как Кроссгилль: *meum feci!*

– Мне кажется, – сказал Кроссгилль, вставая, – что *nostra*

hodie fecimus. Опасаюсь, что г-н Печерин мог бы утомиться нашими тезисами. Признаюсь откровенно, что на этот раз я имел усиленное намерение пропагандировать. С успехом ли или без успеха – сам г-н Печерин мне когда-нибудь скажет.

– Надеюсь, что мы скоро вновь свидимся, – отвечал Печерин, – и что вы мне позволите вас навестить.

– С большим удовольствием буду вас ожидать. Вот моя карточка. На ней мой адрес.

Когда Кроссгилль ушел, Вальдбах обратился к Печерину с вопросом о впечатлении, произведенном на него англичанином.

– Это человек убежденный, стойкий, – отвечал Печерин, – но сердцем уже охолодевший. Идея долго в нем господствует. Привязанностей нет в настоящем. Были ли в прошлом – также не заметно.

– Он вообще очень сдержан, и сегодня даже, только в вашу честь, был менее сдержан, чем обыкновенно. Вы могли, однако же, заметить, что несколько раз он мгновенно оживлялся и говорил с жаром, хотя потом опять быстро возвращался к привычному, спокойному тону речи. При дальнейшем знакомстве вы убедитесь в том, какая глубокая привязанность сохранилась в нем к Оксфорду. Помню, что он однажды мне говорил о своих впечатлениях в день отъезда, после разрыва его с тамошним миром. Из окон вагона он смотрел на постепенно удалявшиеся и опускавшиеся над горизонтом башни церкви и университетских коллегий; он не мог оторвать глаз

от них и в то же время чувствовал и сознавал, что существенная часть его жизни от него отрывалась и оставалась навсегда там, где виднелись те древние, так долго ему близкие башни. Его голос дрожал, когда он мне говорил о том, печать глубокой грусти лежала на его лице, и даже впоследствии, всякий раз, когда ему случалось в разговоре упоминать об Оксфорде, тень этой грусти мгновенно покрывала его черты. В человеке, способном к такой памяти, сердце не охладевает.

– А случается ли ему более определенно высказывать то сочувствие к нашей церкви, о котором вы, кажется, упомянули? – спросил Печерин.

– Да, он догматически очень близок к вам; но у него есть свои взгляды. Он отчасти идет дальше вас и утверждает, что, ввиду современных нападений на христианство, мы все слишком слабо его защищаем, потому что нападения и обстоятельства новые, а защита прежняя. Он говорит, что верования защищаются только верой, а вера – сознанием пределов нашего разума, не ограничиваясь ссылками на книги, которых значение противники отвергают.

## XIV

Если Печерин не забывал в Париже ни Веры, ни Белоречка, то Вера постоянно вспоминала и думала о Печерине. Ее жизнь со дня на день становилась безотраднее, а будущность представлялась ей еще мрачнее настоящего. Со сто-



роны Степана Петровича продолжались косвенные настояния относительно выхода в замужество за Подгорельского; а отношения к Прасковье Семеновне, которая ежедневно была в доме и даже проводила в нем большую часть дня, были явно враждебны: холодны и молчаливы со стороны Веры, задорны, раздражительны и почти злобны со стороны Прасковьи Семеновны. С Болотиным Вера могла видаться лишь изредка, в случаях крайней необходимости и подвергаясь всякий раз сцене с отцом, который упрекал ее в заговоре против него с ее покойной матерью. Разрыв между Сербиным и Болотиным был полный. Степан Петрович потребовал от него немедленной уплаты по его просроченным долговым обязательствам, и Болотин был бы поставлен в необходимость, по истощении всех своих средств, оставить службу в земской управе, если бы неожиданная помощь не выручила его. Вера попросила его взять шесть тысяч рублей, которые он был должен ее отцу, из принадлежащих ей десяти тысяч, переданных ему ее матерью; но Болотин наотрез отказался пользоваться этими деньгами, сказав, что он через то нарушил бы доверие покойной Анны Федоровны. Он уже был готов формально признать свою несостоятельность, когда Шведов, знавший о положении его дел, неожиданно принес ему шесть тысяч рублей и предоставил их в его распоряжение на годовой срок, под единственным условием – чтобы получение этой ссуды от него, Шведова, осталось неизвестным. Уплата долга еще более озлобила Сербина, и он начал

распускать слух, что Болотин растратил капитал его дочери; но когда он однажды упомянул о том в присутствии одного из директоров белорецкого банка, куда Болотин внес деньги Веры на хранение, то директор, хорошо знавший Болотина, весьма резко, при свидетелях, опроверг такой наговор.

Между тем в белорецком свете тягостное положение Веры было вполне известно только Болотину и Шведову. Вера требовала от Болотина, чтобы он никому не сообщал о том никаких подробностей, для избежания нареканий на ее отца. Будучи в трауре по матери, Вера оставалась в стороне от обычного зимнего движения в местной общественной среде и, кроме двух или трех дам, близких знакомых покойной Анны Федоровны, почти ни с кем вне дома не виделась. Отношения Степана Петровича к г-же Криленко были, однако же, предметом толков в городе, и к этим толкам, естественно, присоединялись и другие, более или менее сочувственные толки о положении Веры. Не знали подробностей, но в общих чертах догадывались и сожалели. Одни говорили, что в конце концов Вера выйдет за Подгорельского; другие это оспаривали и ссылались на Болотина, который в этом отношении ни к какому умолчанию не был обязан. О самом Сербине никто, вне тесного круга составившейся около него партии, не отзывался доброжелательно; но благодаря уменью и средствам он в этой партии сохранял почти без ущерба прежнее влияние.

При всем том Веру не покидала смутная надежда на про-

свет в окружавшей ее мгле. Надежда была неразрывно связана с именем Печерина. Вера припоминала его последние слова при их прощальном свидании и знала от Болотина и отца Пимена, что Печерин осведомлялся о ней после кончины ее матери, хотя такое осведомление было так естественно, что ему нельзя было придавать особого значения. Приезда Печерина в Черный Бор никто не ожидал, так как он не упоминал о таком намерении ни в письмах к Шведову, ни в ответах на два письма отца Пимена. Напротив того, возвратившийся из Парижа белорецкий помещик Чукмасов, дальний родственник губернатора, рассказывал, что Печерин много бывает в тамошнем свете, ухаживает за какой-то красивой мисс или леди, подружился с англиканским каноником или деканом, для того чтобы чаще встречаться в обществе англичан с той леди или мисс, и собирается весной в Англию, на лондонский сезон. Вера никогда не говорила о Печерине; но Прасковья Семеновна Криленко, с той проницательностью, которая всегда более свойственна злым людям, чем добрым, давно была убеждена не только в том, что Вера думает о Печерине, но и в том, что она его полюбила и надеется на его приезд летом. Прасковья Семеновна без труда успела в этом уверить и Степана Петровича, которому Печерин с самого начала не пришелся по сердцу, а затем стал ненавистен после отказа продать Черный Бор. Услышав о рассказах Чукмасова, Прасковья Семеновна поспешила передать их за обедом у Сербина, обращаясь

к нему, но с явным злорадством посматривая на Веру. Степан Петрович также взглянул на нее, чтобы подметить произведенное на нее впечатление. Но Вера уже привыкла владеть собой и заранее знала, что всякий раз, когда произносилось имя Печерина, ей следовало ожидать или недоброго о нем слова, или чего-нибудь для нее самой неприятного. Она успела справиться с охватившим ее внутренним движением, пока Прасковья Семеновна передавала повествование о леди или мисс и предстоящей поездке в Англию, и когда она кончила, то Вера спокойно сказала, обратясь к отцу, что это известие ее не удивляет, потому что некоторое пристрастие к Англии и англичанам в Печерине было всегда заметно и он несколько раз говорил летом о намерении из Парижа поехать в Лондон.

Рассказ Прасковьи Семеновны произвел, однако же, свое действие. Возвратясь после обеда в свою комнату, Вера судорожно заплакала. Она не вполне верила рассказу, но сознавала, что и сама ни в чем противоположном не была уверена. Время уходило и приносило ей только новые огорчения, и удручавший ее домашний гнет постоянно возрастал. Когда сердце уязвлено и в нем ощущается непрерывная недремлющая боль, то при каждом случайном прикосновении эта боль так обостряется, что может казаться, будто она является в первый раз, – так она бывает сильна. Вера опустилась на колени перед висевшей в углу комнаты иконой и стала горячо молиться одной из тех молитв, для которых, по выра-

жению одного писателя, не писано слов, которых нельзя передать словами, но где сливаются воедино с исповедью страдания и мольба о помощи и упование на помощь.

Бывают в жизни минуты, когда мы особенно ясно сознаем свою беспомощность. Нет точки опоры в кругу обыденных условий и отношений, и из него не видно исхода. Все к нам близкое как будто против нас ополчилось. Все более от нас далекое или равнодушно к нам, или бессильно помочь. Так называемая сила вещей влечет нас по наклонной плоскости к краям мрачного обрыва; мы его видим, знаем, что к нему приближаемся, но чувствуем, что остановиться не можем. В таком положении была Вера, и положение было потому безвыходно, что создавалось ее отцом. С наступлением весны оно должно было сделаться еще более тягостным. Сербин объявил, что он проведет лето, вместо выгоревшего Васильевского, на тех Симановских хуторах, которые были куплены им для г-жи Криленко. Таким образом, Вере предстояло быть гостьей женщины, в которой она видела непримиримого себе врага, которая помрачила конец жизни ее матери и относительно которой она с трепетом ожидала, что настанет день, когда отец назовет эту женщину второй для Веры матерью.

Луч вечернего апрельского солнца, внезапно проникнувший в комнату и озаривший Веру, прервал ее молитву. Она оглянулась на окно, перекрестилась, встала, подошла к окну и стала смотреть на бежавшие перед южным ветром

сизо-белые, по краям золотистые облака. Под ними крест соседней церкви светился перемежавшимся блеском, по мере того, как спускавшееся к горизонту солнце облаками не застилалось. Вид церкви напомнил Вере о прощальном свидании с Печериным, Печерин – о Черном Боре, а Черный Бор – опять о Симановских хуторах. «Если бы он и возвратился, – сказалось в ее мыслях, – то теперь уже не был бы в нашем соседстве». Но Вере был дан еще другой повод вспомнить о хуторах. В комнату торопливо вошла ее горничная и, тщательно затворив за собой дверь, прерывавшимся голосом объявила, что имеет сообщить нечто важное для Веры, что она слышала все это от Абрама Ильича.

– Что же это такое? – спросила Вера. – Но ты, Наташа, успокойся. Говори так, чтобы я тебя могла понять. От какого Абрама Ильича и что ты слышала?

– Тот Абрам, Вера Степановна, который прежде служил у нас. Теперь он, по рекомендации Степана Петровича, служит у Прасковьи Семеновны; но он ее терпеть не может, а вас любит, как мы все в доме вас любим. Он был у меня, чтобы по секрету сказать, что вы ни под каким видом не должны переезжать на хутора Прасковьи Семеновны.

Вера тревожно взглянула Наташе в глаза и ожидала продолжения ее рассказа, но Наташа как будто не решалась говорить и молчала.

– Объяснись же, наконец! – сказала Вера. – Почему Абрам думает, что мне не следует туда ехать? Ведь если я перееду

туда, то перееду вместе с отцом.

– Хотя бы Степан Петрович и был с вами, все-таки переезжать не следует. Против вас замышляют недоброе.

– Что недоброе? И почему Абрам о том знает?

– Он слышал разговор между Прасковьей Семеновной и Глебом Ивановичем Подгорельским. Абрам не имеет дурной привычки подслушивать, мы его знаем; но на этот раз он решил подслушать, потому что, проходя мимо кабинета Прасковьи Семеновны, случайно услышал ваше имя. Подгорельский и Прасковья Семеновна о чем-то спорили и говорили громко. Речь шла о вас. Летом вас непременно хотят если не выдать, то сосватать за Подгорельского. Он говорил, что вы не согласитесь. Тогда Прасковья Семеновна сказала, что вас можно заставить согласиться, и сердито спросила Подгорельского, такой ли он трус, что не решится вас увезти?

– Как – увезти? – с судорожным движением спросила Вера.

– Так она сказала, – отвечала Наташа. – Она сказала еще, что устроит это у себя так, что Степан Петрович ничего о том не будет знать, – и сказала, что достаточно хотя двадцать верст с вами прокатиться. Шума будет вдоволь, у вас будет несколько посбито спеси, а там, чему далее быть, то будто бы обсудить успеют.

Вера долго стояла неподвижно, ничего не говоря и, очевидно, вдумываясь в слышанное от Наташи. Потом она

как бы пришла в себя и сказала:

– Трудно всему этому поверить; но, во всяком случае, спасибо Абраму и спасибо тебе, Наташа, за то, что вы меня хотели предостеречь. Мне и без того нужно было видеться с Болотинным. Приходи ко мне через четверть часа; я тебе дам записку, которую ты сама к нему отнесешь.

Вера написала Болотину, что желает его видеть, под каким бы то ни было предлогом, в утренние часы следующего дня, и просила его, во-первых, осведомиться, к какому времени ожидался приезд Суздальцевых в Липки, и, во-вторых, тотчас вызвать в Белорецк, через посредство отца Пимена, Василису, с тем чтобы ее приезд имел вид исполнения желания самой Василисы навестить ее.

## XV

Вальдбах нашел, по возвращении в Париж в начале апреля, существенную перемену в настроении и образе жизни Печерина. Он мало бывал в свете и казался сосредоточенным в себе и чем-то постоянно озабоченным. Д-р Кроссгилль еще ранее это заметил и спросил Вальдбаха, не знает ли он, что так изменило их молодого приятеля.

– Не знаю, – отвечал барон, – но, быть может, догадываюсь. Он думает об отъезде, но не решается уехать.

– Он мне очень симпатичен, – продолжал Кроссгилль. – У него есть расположение взглянуть в жизнь, но взгляд еще



не установился.

– Радужных красок до сих пор было много, – сказал Вальдбах, – они мешали.

Вальдбах ошибался в том отношении, что Печерин не только помышлял об отъезде, но уже и решился оставить Париж. Колебания относились лишь ко времени исполнения этого намерения. Он ожидал ответа на письмо, отправленное им к отцу Пимену, и вообще, желал, чтобы его возвращение в Черный Бор совпало с наступлением весны и потому не возбудило в местности толков о причинах торопливого приезда. Положение Веры было в главных чертах известно Печерину и со дня на день более и более его тревожило. Он знал, что один Болотин служил ей опорой, и потому поручил Шведову негласно выручить Болотина по делам с Сербским. Он знал также, что Сербин проведет лето на Симановских хуторах, и желал непременно застать Веру в Белорецке до ее выезда из него с отцом. Между тем он принял нужные меры к тому, чтобы самому иметь возможность уехать, без служебных препятствий, как только признает, что время к отъезду наступило.

Прошло несколько дней. Вальдбах зашел утром к Печерину и застал его занятым разборкой писем и бумаг, лежавших на его письменном столе.

– Продолжайте работать, прошу вас, – сказал Вальдбах, поздоровавшись с Печеринским, – я не с тем пришел, чтобы вам мешать. Позвольте только вас спросить: скоро ли?

Печерин пристально посмотрел на барона, потом ответил:

– Не знаю, понял ли я смысл вашего вопроса. Если понял, то скажу, что, быть может, скоро.

– Оно и лучше. Я спросил потому, что и мне нужно приготовиться.

– И вам? С некоторого времени, барон, вы как-то загадочно выражаетесь.

– Не совсем загадочно. Вы позволяете мне в наших беседах следить за ходом вашей мысли, но прямо не высказываете ее. И я прямо не высказываюсь. Впрочем, я всегда готов высказаться. Я намерен ехать с вами, и даже уверен, что вы это намерение предугадали.

– Я действительно был убежден, – сказал Печерин, – что вы еще при мне навестите Черный Бор; но не надеялся, чтобы вы решились на это теперь.

– Почему же не решиться? – отвечал Вальдбах. – Вы знаете, что я свободен, хотя и не light hearted, и что меня самого сердце влечет к Черному Бору. Дайте руку, Борис Алексеевич. Вы себе приобрели во мне верного друга, и на этот раз я мог бы вам быть бесполезным спутником.

– Благодарю вас от души, – сказал Печерин, – в моем положении ваш добрый совет мне может быть нужным, а ваше присутствие будет помощью. Давно чувствую, что мне следует ехать; но я ждал прямого указания, что время к тому наступило. Со дня на день могу получить письмо, в котором это указание будет сделано.

– Во всяком случае, вы уедете от разлада с самим собой.

Это – дурной товарищ, с которым всегда хорошо расстаться.

– Неужели этот разлад так заметен? Я не воображал, что вы так внимательно и проницательно наблюдали за мной.

– Особой проницательности не требовалось. В моем участии вы убеждены, а участие – такое увеличительное стекло, при котором многое видно, что без него не замечается. Об одном я буду просить вас. Не сообщайте никому заранее о моем с вами приезде. Мне желалось бы увидеть Черный Бор прежде, чем кто-либо меня там увидел.

– Я и о своем приезде не намерен предупредить. У меня есть причины не желать, чтобы о том узнали в Белоречке прежде, чем я сам буду налицо. Я намерен избрать тот же путь, как и в прошлом году. Он не так удобен, но короче. Со стороны бора тогда можно дойти до усадьбы пешком, никем не будучи замеченным.

– Тем лучше. Итак, по рукам. Когда получите ожидаемое известие, дайте мне о том знать. Мои сборы не продолжительны. На следующий же день мы могли бы ехать.

Отец Пимен не замедлил ответом. Он писал, что в первых числах мая Сербин имел намерение переехать на Симановские хутора, что Вера была этим чрезвычайно огорчена; что она через него вызывала к себе из Черного Бора Василису, которая потом была у него и показалась ему очень встревоженной; что Вера, по-видимому, надеялась найти возможность провести некоторое время в Липках, у Суздальцевых,

потому что спрашивала Василису, скоро ли их там ожидают; и Болотин настоятельно приглашал самого отца Пимена побывать в Белорецке, но он до сих пор не мог отлучиться из Васильевского. Письмо кончалось подчеркнутыми словами: «если вы намерены приехать, приезжайте тотчас».

С той же почтой Печерин получил письмо от Шведова, который сообщал, что он за несколько дней перед тем был в Черном Боре по случаю начала весенних работ. Он спрашивал некоторых указаний по хозяйственной части и выражал сожаление о том, что Печерин еще не дал положительного ответа на вопрос, будет ли он к лету в Черном Боре. «Впрочем, – продолжал Шведов, – вы могли бы хоть завтра приехать. В доме все исправно и уже поставлено на летнюю ногу. В саду работают. Ваша петербургская коляска привезена. Между крестьянами распространились толки, что вы будто бы потому непременно приедете, что намерены купить Васильевское; а эти толки пошли в ход от двух-трех стариков, которые ссылаются на какое-то предсказание, что Бакларовские имения вновь сойдутся, когда перед Васильевским домом высохнут два вяза. Они действительно высохли или сохнут. Признака зелени на них нет. Один пострадал от зимнего пожара; другой еще при вас был разбит молнией»...

Вальдбах и Печерин избрали путь на Варшаву, не желая заезжать в Петербург. На станции железной дороги с ними простился д-р Кроссгиль. Он выразил сомнение о том,

что Печерин не мог остаться в Париже до ближайшего воскресенья; он увидел бы его в русской церкви с леди Нортон и той американской дамой, которая однажды при Печерине, у леди Нортон, так легкомысленно отзывалась о православном исповедании.

– Я предупредил о том вашего священника, – продолжал Кроссгилль, – и он любезно согласился после литургии принять нас у себя. Отвечаю вам за то, что впредь эта американка так отзываться не будет, а леди Нортон еще более утвердится в мысли, что наше английское ритуалистское движение сближает нас с вами.

– Сожалею и я, что меня при этом не будет, – отвечал Печерин. – Думаю, однако же, что если вы далее поведете леди Нортон, она уйдет в Рим, а не к нам.

– Это другой вопрос, – сказал Кроссгилль. – Вам давно бы следовало призадуматься над тем, почему от вас иногда уходят, а к вам не приходят. Это же самое заметил, сколько помню, уже граф де Местр более полувека тому назад. Впрочем, вы знаете, что я считаю своим призванием приводить в храм, а не переводить из одного храма в другой...

Когда поезд тронулся, Печерин обратился к Вальдбаху:

– Замечательна стойкая последовательность Кроссгилля. В ваше отсутствие я с ним часто видался. Всегда один и тот же. Он иногда оживляется в разговоре, но на деле неизменно себе верен, ровен и на вид спокоен.

– Более, чем на вид, – отвечал Вальдбах. – Он и в ду-

ше спокоен. Я его знаю дольше вас и однажды спросил его, где ключ к этому спокойствию. Он отвечал стихом Гете:

«На беспредельное надежде нет предела»...

– Мне кажется, что если бы ему объявили, что он завтра должен умереть, он и эту весть выслушал бы спокойно, – досказал Вальдбах, – по крайней мере, настолько спокойно, насколько смерть касается всего земного. Мысль о переходе в другое бытие имеет, впрочем, столь сильное значение, что по отношению к этому бытию дух вполне спокойным быть не может. Но касательно расставания с землей у Кроссгилля нет никаких поводов к волнению. Ему не о чем жалеть на земле, потому что он, собственно, себе ничего не желает и ни с чем земным тесно не связан.

– Однако же эта идеальная готовность к смерти возможна только весьма немногим, – возразил Печерин, – а нам говорят, что мы все к ней должны быть приготовлены. Если бы у Кроссгилля была семья или даже если бы он только любил леди Нортон, то он менее спокойно относился бы к мысли, что завтрашний день для него может быть последним.

– Конечно; но таков наш общий удел, – продолжал Вальдбах, – мир берет свою долю. Вспомните, что почти все великие подвижники были отшельниками, или монахами, или жили в монастырях. Между нынешними англиканскими епископами Кроссгилль не найдет св. Ансельма Кэнтер-

берийского. Это одно из тех видимых противоречий между заповедью и обстановкой соблюдения заповеди, которые в жизни встречаются на каждом шагу.

– Почему же только видимые противоречия? Они мне представляются весьма существенными, – возразил Печерин.

– Нет, эти противоречия только видимые, – отвечал Вальдбах, – потому что заповедь не может не быть общей, а условия, которыми обставлено ее соблюдение, не могут не быть различными. Объяснение есть в притче о талантах. Одинаковое благословение дано тому, кто с пятью талантами приобрел пять, и тому, кто с двумя приобрел только два.

## XVI

Май наступил. Накануне дня, предназначенного для переезда на Симановские хутора, Вера была одна в своей комнате, в поздний вечерний час, и оканчивала уборку хранившихся у нее писем и укладку своих вещей. Она несколько раз перечитывала полученную от Болотина записку, которой он ее извещал, что письмо к Марье Ивановне Суздальцевой доставлено в Липки и что Суздальцевы там ожидались на другой день после доставки письма. В этом письме Вера предупредила Марию Ивановну о своем приезде, кратко объясняла причины, по которым она испрашивала ее гостеприимного покровительства, и просила, в случае ее согласия,

не присылать никакого ответа. На столе лежало другое начатое письмо на имя Степана Петровича. Вера также несколько раз принималась за это письмо, но останавливалась после каждых двух или трех строк. Слезы навертывались на ее глазах, и их следы были видны на бумаге. Вера старалась бережливо и почтительно объяснить отцу, почему переселение на хутора ей было невозможно, и она решила тому предпочесть, заранее испрашивая его великодушного прощения, временное самовольное удаление из родительского дома. Далее Вера писала, что переезд к Суздальцевым, по их дружеским отношениям к ней, не возбудит толков, и что потому она не хотела ни переехать в Васильевское к отцу Пимену, ни приискивать себе другого убежища. Наконец, она хотела оговорить, что уезжает внезапно для предупреждения тяжелых, и притом бесполезных, объяснений с отцом, что все меры к отъезду приняты лично ею, чтобы никто другой не мог быть за них ответственным; Болотин извещен о том только в этот вечер, и даже ее горничная Наташа узнает о ее отъезде только из записки, которая будет оставлена на ее столе вместе с письмом к Степану Петровичу. Но Вера еще далеко не успела дописать письма, когда ей послышались в соседнем коридоре шаги отца. Она торопливо спрятала свое письмо и записку Болотина, встала со своего места, и когда Сербин вошел в ее комнату, то уже застал ее перед стоявшим близ стола чемоданом, в который она укладывала некоторые мелкие вещи.



– Напрасно ты сидишь так поздно, Вера, – сказал Степан Петрович, бросив взгляд на чемодан и на лежавший близ него на стуле саквояж. – К чему торопиться укладкой? Мы завтра выедем не рано. Ты десять раз успела бы утром уложиться.

– Вы знаете, папá, – отвечала Вера, – что у меня дурная привычка торопиться сборами к поездкам. Когда я готова, то как-то спокойнее.

– И напрасно все сама делаешь. На что же Наташа у тебя?.. Она должна...

Степан Петрович на минуту остановился, посмотрел на дочь, потом продолжал:

– И всего хуже то, что ты плачешь. Ты знаешь, что меня твои слезы огорчают. У меня и без того немало огорчений и забот.

– Папá, я стараюсь не плакать, – сказала Вера, – но я была одна. Когда грусть одолевает и никто моих слез не видит, то подчас трудно им не дать воли...

– Надеюсь, что, по крайней мере, завтра ты плакать не будешь... Поверь, мне порой больно смотреть на тебя... Было время, когда ты не плакала. Я это помню.

– И я помню, папá, – едва слышным голосом проговорила Вера.

Степан Петрович опять на минуту замолчал. Лицо его приняло мягкое выражение. Он как будто хотел что-то сказать дочери, но не решился. Он подошел к ней, взял за руку,

поцеловал в лоб и повернулся к дверям, но Вера остановила его и два раза поцеловала его руку со словами:

– Вы со мной не простились, папá. Не уходите рассердившись на меня.

– Я нисколько не сердился, – сказал Степан Петрович. – Прощай. Желаю доброй ночи и все-таки тотчас к тебе пришло Наташу.

Вера проводила отца до коридора и смотрела вслед ему, пока могла его видеть. Она справлялась с собой и не плакала; но громкий стон вырвался из ее груди, когда она возвратилась в свою комнату и затворила за собой дверь.

– Вера Степановна, – сказала вошедшая Наташа, – ради Бога, не плачьте так, не изводите себя. – Пора и о покое подумать. Давно одиннадцать пробило.

– Мне не до покоя, Наташа, – отвечала Вера, – и я не думаю спешить ложиться спать. Я и без тебя справлюсь. Но теперь мне нужно на воздух, чтобы вздохнуть свободнее. Здесь, в комнате, душно. Побудь у меня минут десять. Я выйду в садик по черной лестнице и по ней же вернусь, никого не тревожа.

То, что Вера называла садиком, был прилегавший к дому небольшой огород, обнесенный глухим забором, обсаженный деревьями и наполовину обращенный в цветник покойной Анной Федоровной Сербиной. Вдоль забора пролегал узкий переулок, выходивший под острым углом на другую улицу. Вера обошла кругом садика, убедилась, что задвиж-

ка у калитки, на стороне переулка, свободно передвигалась в скобе, и, возвратясь в свою комнату, отпустила Наташу, сказав, что еще намерена писать письма и не хочет ее напрасно задерживать.

Вера дописала письмо к отцу, запечатала его и приложила к нему записку, в которой просила Наташу письмо передать, а от нее ждать вскоре известий. «Я для того уехала без тебя, любезная Наташа, и тебя не предупредила, – добавляла Вера, – чтобы никто не мог тебя обвинить в том, что ты мне помогала уехать».

Затем Вера переложила в свой саквояж некоторые вещи из чемодана, который вовсе не была намерена с собой брать, потом вышла в коридор, прислушалась, удостоверилась, что в доме все затихло, и тогда, помолившись на коленях перед иконой, стала готовить свой дорожный наряд. Она повязала голову цветным шелковым платком, по обычаю в белорецкой местности девушек как мещанского, так и крестьянского сословия, а на плечи накинула большой толстый шерстяной, темного цвета платок, оставленный ей Василисой. Этот платок окутывал Веру ниже колен, и кроме обуви, которая спрятана быть не могла, и саквояжа, перчаток и зонтика, которые могли быть спрятаны под платком, ничто в этом costume Веры не обличало ее звания.

Пробил час пополуночи. Вера погасила горевшие на столе свечи, тихо вышла, спустилась в садик и, дойдя до калит-

ки, прислушалась, потом слегка постучалась. Отклика не было. Вера простояла неподвижно две или три минуты, потом вновь постучалась. Ответа не было и на этот раз. Сердце Веры забилося сильно, и дыхание так сперлось в ее груди, что она прислонилась к забору, чтобы не упасть. В это мгновение послышался легкий стук в калитку со стороны переулка.

– Это ты, Василиса? – вполголоса спросила Вера.

– Я, матушка Вера Степановна, – отвечала Василиса. – Выходите скорее. Я не могла ранее ответить вам, потому что какие-то два человека шли по переулку, а теперь их не видеть.

Вера вышла и молча, рядом с Василисой, направилась к углу соединения переулка с улицей, а затем можно было прямо следовать по ней для выезда из города. За углом стояла запряженная парой крытая повозка из разряда тех, в которых мелкие торговцы разъезжают по сельским ярмаркам. В полумраке весенней ночи Вера не могла разглядеть черты лица человека, сидевшего на облучке. Только длинная белая борода, окаймлявшая нижнюю часть его лица, выделялась из того полумрака.

– Это старик Игнатий из Сизой деревни, – шепнула Василиса своей спутнице, – тот самый, у кого хотели разрушить молеблю.

– Садитесь, матушка, – сказал Игнатий, приподняв шапку. – Пора. Заря занимается.

Вера и Василиса не без труда взобрались в низкую повозку.

– Можно ли ехать? – спросил Игнатий.

– С Богом, – отвечала Василиса.

– С Богом, – повторил старик, снял шапку, перекрестился и, дернув вожжами, вполголоса заговорил со своими лошадьми. Повозка тронулась с места шагом, потом едва заметной, тихой рысцой.

– Все ли время мы так будем ехать? – спросила Вера Василису.

Старик Игнатий, вероятно, расслышал вопрос, потому что, полуобернувшись к Вере, сказал:

– Сначала нельзя спешить, матушка. Теперь ночь. Может кто-нибудь повстречаться и полюбопытствовать кто, куда и почему торопится. Как в поле выберемся, так и ходчее поедем.

Кругом таких городов, как Белорецк, тянутся вдоль всех выездных дорог длинные слободки; это ни город, ни деревня; тут, обыкновенно, живет рабочий люд, занимающийся отчасти городскими, отчасти сельскими промыслами. Пока путь лежал по такой слободке, Игнатий ехал той же самой рысцой. Минуты казались Вере часами. Кое-где по обеим сторонам засвечались огоньки, но на самой дороге никого не было, и, кроме топота лошадей и стука колес повозки, не было слышно никакого звука.

– Люди уже встают, – сказал Игнатий, показывая на огонь-

ки. – Скоро и на улицу выходить станут.

Наконец повозка миновала последнюю хату на краю доходящего до слободки поля. Игнатий махнул кнутом, крикнул на лошадей, и повозка ровной рысью покати­лась по мягкой, местами полупесчаной дороге. Вера вздохнула свободно в первый раз после того, как затворила за собой дверь своей комнаты. Ей казалось, будто вдруг прекратилась постоянно настигавшая ее погоня.

Между тем быстро светало. В белорецкой местности солнце всходит почти часом позже, чем в Петербурге, и поднимается на горизонте под менее острым углом. С запада на восток не крадется ночью над горизонтом белая полоса, медленная предвестница дня. Заря занимается прямо на востоке и в ясную погоду скоро переходит в золотистое утро. За пролеском, пересекавшим дорогу в полуверсте от города, Вера заметила стоявшую на краю дороги, у канавы, одноконную крестьянскую тележку. Дремавший в ней молодой парень встрепенулся, когда с ним поравнялась повозка, схватил вожжи, ударил кнутом по лошади и поехал вслед за повозкой. Вере показалось, что Игнатий кивнул ему головой.

– Кто едет за нами? – спросила Вера, на этот раз обратясь к Игнатию.

– То мой внук, Митька, – отвечал старик. – Он здесь поджидал нас. – Нельзя ехать далеко без пособника на случай. Пожалуй, в упряжи понадобится что-нибудь переправить.

– Он везет и те вещи, которые вы наперед мне передали, –

добавила Василиса.

Ровной рысью бежали лошади. Бежало и всегда бегущее время. Солнце давно встало. Отблеск его лучей искрился в каплях росы на кустах и на траве, вдоль дороги. Над влажной зеленью смежных озимых полей слышалось пение жаворонков. Вере стало на несколько мгновений так легко на сердце, как должно быть легко птице, вылетевшей из клетки. Но сознание ее положения тотчас восстановилось. Она глубоко вздохнула, долго молчала, потом спросила Игнатия, далеко ли до поворота в Липки.

– Верст пятнадцать еще будет, – отвечал Игнатий. – Но мы остановимся с полверсты недоезжая поворота, у хаты лесника.

– Там, верно, нас ждет другая повозка? – продолжала Вера, обратясь к Василисе.

– Там должны нас встретить Кондратий и другой внук Игнатия, – отвечала старуха и нерешительно прибавила: – Кондратий скажет, каким путем мы далее поедем...

– Разве оттуда две дороги в Липки?

– Кондратий мне вчера так сказал, что, может быть, придется ехать другой дорогой.

У хаты лесника действительно стояла другая крытая повозка, в которой Вера и Василиса, простившись с Игнатием, продолжали путь. Кондратий сам правил; за ним следовал, как от Белорецка, одноконный провожатый.

Недоезжая поворота в Липки, Кондратий остановил ло-

шадей, обратился к Вере и сказал:

– Не прогневайтесь, матушка Вера Степановна. Мы поедем не прямо в Липки, а сначала на Черный Бор.

– Как – на Черный Бор? – воскликнула испуганная Вера. – В Черный Бор я не хочу ехать.

– Нельзя в Липки до завтра, – отвечал Кондратий. – Суздальцевы будут только сегодня поздно вечером. Их задержали в Москве. Ваше письмо их ждет в Липках. Я справлялся и сказал Василисе, что справлюсь, потому что стороной о том слышал.

– Я не могу ехать в Черный Бор, – проговорила в сильном волнении Вера и сделала движение, чтобы выйти из повозки. Василиса ее удержала.

– Голубушка, Вера Степановна! – сказала умоляющим голосом Василиса. – Успокойтесь, ради Бога! Куда же ехать? В Васильевское нельзя вам приезжать переодетой. Там вас тотчас узнают. Я не предупредила вас потому, что, когда мы расстались с Кондратием, он еще ничего не успел разузнать наверное. А делать было нечего. Если бы вы со мной не уехали, то сегодня же были бы на пути к тем хуторам.

– В Черном Боре, – добавил Кондратий, – никто не догадается и вас не увидит, кроме моей старой кумы, жены садовника. Она – женщина верная; я ей даже передаю ключ от часовни, когда отлучаюсь надолго. В доме я сказал, что Василиса вернется с племянницей, которая издалека к ней приехала; я не подвезу вас к большому крыльцу, а проведу садом



прямо в дом, наверх, где теперь живет Василиса. Вы и в Липках не желали подъезжать со стороны двора, а хотели пройти пешком через парк. Завтра же я сам вас доведу до Липок; вы успеете вечером туда написать, и ваше письмо будет к ночи доставлено.

## XVII

Сербин говорил правду, когда сказал Вере, что у него много огорчений и забот. Он начинал ощущать всю тяжесть ига, которому он подчинился. Прасковья Семеновна становилась более требовательной и несговорчивой, по мере того как в силу продолжительности и гласности того ига сам Сербин становился беззащитнее перед ней. В особенности тяготили его назойливые напоминания о сватовстве Подгорельского. Любовь к дочери не замерла в сердце Степана Петровича, но только заглушалась постоянной тревогой его отношений к г-же Криленко. Бывали минуты, как при вечернем прощании с Верой, когда эта любовь пробуждалась в Сербине почти с прежней силой. Кроме того, его огорчала видимая перемена в отношениях к нему некоторых из его ближайших знакомых. Степан Петрович чувствовал, что его осуждали, и сознавал, что имели основание его осуждать.

В доме с раннего утра было замечено отсутствие Веры, но никто не решался сказать о том Степану Петровичу. Наташа оставила на столе найденные ею записку и письмо и в от-

чаянном испуге, сказав о том камердинеру Сербина, особенно пользовавшемся его доверием, куда-то скрылась. Когда Сербин одевался, смущенное выражение лица камердинера обратило на себя его внимание. Выходя в свой кабинет, Степан Петрович обратился к нему.

– Ты что-то скучен сегодня, Алексей. Здоров ли?

– Ничего, здоров, Степан Петрович, – отвечал Алексей, несколько запинаясь, – долго возился с укладкой для переезда...

– Скажи, чтобы ко мне попросили Веру Степановну, если она уже встала.

Алексей вышел, затворил за собой дверь, но за дверью остановился, не решаясь ни идти далее, ни вернуться в кабинет.

Сербин тотчас заметил, что не было слышно шагов Алексея, и, отворив дверь, спросил, зачем он остановился.

– Не знаю, как сказать, – проговорил дрожащим голосом камердинер. – Что-то неладно у нас: Вера Степановна уехала...

– Как – уехала? – вскрикнул, побледнев, Степан Петрович. – С кем? Когда? Где Наташа?

– Должно быть, одна... Наташа ничего не знала; она вся в слезах побежала к Болотину, чтобы от него что-нибудь узнать. Вера Степановна к нему посылали записку вчера вечером... Но Болотин, оказалось, здесь, никуда не уезжал, и у него Вера Степановна не была...

У Сербина на одно мгновение потемнело в глазах. Он прислонился к двери и сказал:

– Говори же толком... Когда могла Вера выйти? Как могли не слышать, что она отворяла двери?

– Она, должно быть, ночью вышла садиком, в переулок. Мы заметили, что у калитки задвижка отодвинута. Она и спать не ложилась и оставила на своем столе письмо к вам и записку к Наташе...

– Где же письмо?..

– Там же, на столе. Наташа и свою записку там оставила.

Сербин провел по лбу рукой, потом сказал:

– Теперь оставь меня. Позову, когда будешь нужен...

Смотри только, чтобы в доме ни слова!..

Степан Петрович торопливым, но неровным шагом прошел в комнату дочери, захлопнул за собой дверь, пробежал одним взглядом записку к Наташе, судорожно скомкал в руке и бросил эту записку, потом распечатал и стал читать письмо Веры к нему.

По мере чтения лицо Сербина принимало более и более угнетенное выражение. Он опустился на стул, оперся на одну руку головой и продолжал читать. Волнение порывистой бури кипело в его душе. В ней боролись и попеременно заглушали друг друга гнев и печаль, мысль о позоре побега дочери из отцовского дома и мысль о том, что он сам дал повод к этому позору, чувство отцовской любви к Вере, опасения за ее будущность, страсть к г-же Криленко, невольное созна-

ние, что она была причиной его домашних несчастий. Степан Петрович долго сидел неподвижно; безысходная борьба в его душе продолжала его томить. Он пытался молиться, но и молитва не давалась ему. Наконец он заплакал...

Было около полудня, когда Сербин вышел из комнаты Веры и подозвал ожидавшего его с возраставшим беспокойством камердинера.

– Поезжай сейчас на хутора, – сказал Сербин, – и скажи, что я сегодня не могу быть, что меня задержало спешное дело и что я постараюсь быть завтра. Скажи, что не знаешь, какое дело, не пускайся в ответы ни на какие расспросы и тотчас приезжай назад.

Между тем Вера уже давно была в Черном Боре. Кондратий проехал к саду окольной дорогой, минуя село, и садом провел в дом Веру и Василису. В верхнем этаже была приготовлена комната, смежная с той, где поселилась Василиса, и туда Кондратий внес вещи, бывшие у провожатого.

– Теперь вы до завтра у себя дома, Вера Степановна, – сказала Василиса. – До сих пор Бог помог. Он поможет и дальше.

Комната, где, по выражению Василисы, Вере можно было чувствовать себя «дома», была на стороне сада. Из окна виднелись только деревья и за ними дальние изгибы реки. В доме все было тихо, и с противоположной его стороны лишь изредка доносились до слуха Веры прерывистые звуки происходившего в селе движения. Под влиянием этой тишины

в ней самой постепенно стихало смятение души; но мысль, что она в доме Печерина нашла себе временное убежище, угнетала ее.

«Что сказал бы он, – думалось ей, – если бы знал, что я здесь!..»

Среди дня Василиса, долго избегавшая тревожить Веру своим присутствием, принесла ей что нужно было для письма в Липки. В это самое время послышались голоса в саду под окном. Вера вздрогнула; Василиса прислушалась, подошла к окну, потом сказала, что никого не видно и что говорившие уже вошли в дом.

– Узнай, кто это, – сказала взволнованным голосом Вера. – Неужели вы скрыли от меня, что г-н Шведов здесь?

– Я никогда не солгала бы вам, Вера Степановна, – отвечала Василиса. – Здесь нет г-на Шведова, и мы его не ждали. Сейчас узнаю, кто говорил под окном.

Василиса долго не возвращалась. Смущение и беспокойство Веры усиливалось; она решилась уйти в комнату Василисы и там ее ожидать. Наконец она показалась в дверях и в них остановилась.

– Господь творит дела, – сказала Василиса. – Не Шведов, а Борис Алексеевич здесь!

– Борис Алексеевич! – повторила Вера. У нее забилося сердце, замерло дыхание, и она оперлась на подоконник, чтобы удержаться на ногах.

– И не один, – продолжала Василиса. – С ним приехал наш

старый барин. Я его не видела. Он прошел прямо на кладбище. Кондратий его видел, и он же рассказал Борису Алексеевичу, что вы здесь, у нас, и почему не в Липках, а здесь. Борис Алексеевич просит вас его принять...

Вера ничего не ответила. Голос ей не повиновался. Но Василиса не выждала ответа. Прошло несколько минут; Вере послышались приближающиеся шаги, и медленно, с приветливо спокойным выражением лица, с явным желанием не обнаружить со своей стороны сознания затруднительного положения Веры, в комнату вошел Печерин.

– Вера Степановна, – сказал он, – вы обещали мне ответ по моем возвращении. Я за ответом вернулся.

Вера уже успела несколько собраться с силами и тихо ответила:

– Борис Алексеевич, вот теперь вам должно быть жаль меня. Я – нежданная гостья в вашем доме, но в этом не виновата...

– От вас зависит, – сказал Печерин, – чтобы не вы, а я был вашим гостем. Скажите одно слово, и с этой минуты не я, а вы будете здесь приказывать.

Он подошел к Вере, взял ее за обе руки и взволнованным голосом продолжал:

– Вы не можете сомневаться в том, что я люблю вас. Я испытал себя; я виновен в том, что слишком долго себя испытывал. Скажите, что вы мне прощаете. Скажите то доброе слово, о котором я просил вас, и здесь, при прощании, и там,

у церкви, при другом прощании.

Вера смотрела на Печерина, но едва различала черты его лица сквозь выступившие в ее глазах слезы. Она тихо проговорила:

– Не трудно мне вам сказать доброе слово. И я люблю вас.

Печерин поцеловал обе ее руки, потом притянул ее к себе, поцеловал в лоб и сказал:

– Благословен для меня этот день, Вера. Жаль одного: я тотчас с вами должен расстаться. Ненадолго, надеюсь. Еду к вашему отцу. Вернусь завтра. Он отказать мне не может. И завтра же я сам доведу вас до Липок, впредь до того дня, когда вы сюда со мной вернетесь. Вместо вас я сам напишу о том Суздальцевым. Не так ли?..

Печерин не выждал ответа со стороны Веры и, взяв ее под руку, вышел с ней в комнаты, где Василиса и Кондратий его ждали.

– Вера Степановна здесь хозяйка, – сказал он им, – пока я вернусь. Кондратий, сейчас послать заготовить подставу в Новоселках и мне подать тройку, часа через два – вы позволяете, Вера?..

Василиса и Кондратий на одно мгновение как будто обомлели, не понимая всего смысла слов Печерина; но потом оба радостно бросились к Вере целовать ее руки.

– Слава тебе, Господи! – повторяла Василиса.

– Бог дает нам другую Марью Михайловну, – сказал Кондратий Печерину. Вера могла только плакать, обнимая Ва-

силису, и поцеловала старика Кондратия.

– Где барон? – спросил Печерин.

– В часовне, – отвечал Кондратий. – Он с кладбища прошел туда.

– Вы займете теперь комнаты, где вы останавливались с вашей матушкой, – сказал Печерин, обращаясь к Вере. – Мы туда пройдем вместе. Кондратий, распорядись насчет подставы, а ты, Василиса, попроси барона к Вере Степановне, когда он выйдет из часовни.

## XVIII

– Еще рано смотреть в эту сторону, – сказал Вальдбах сидевшей у окна Вере. – Как бы скоро ни покончил он делом в городе и как бы скоро ни ехал сюда, прежде четвертого или пятого часа он быть не может, а теперь только половина третьего.

– Меня тревожит мысль, – отвечала Вера, – что он мог не застать моего отца в городе. Хотя он и сказал мне, что в таком случае рано утром будет на хуторах, но оттуда до Белорецка около двадцати верст, и эти двадцать верст ему придется проехать на обратном пути.

– По моим соображениям, Печерин должен застать вашего отца в городе.

– Дай Бог; но я не смею надеяться.

– Я, наоборот, не только надеюсь, но даже скажу, что в том



уверен.

– Но почему? Ведь вы знаете, что мой отец вчера был намерен переехать на хутора.

– Я мог бы на это сказать: его переезд мне представляется невероятным без вас, по крайней мере, на первых порах, без вас он должен был бы или ехать в Липки, или ждать оттуда вестей. Но моя уверенность имеет еще другое основание. Все, что с вами и даже с нами тремя вчера приключилось, – продолжал Вальдбах, – до того имеет на себе печать предопределения судьбы, то есть воли Провидения, что и на нынешнем дне она должна непременно обозначиться. Все мелочное этой печати не свойственно. Из-за чего, например, вас лихорадочно тревожат каких-нибудь три часа лишних, если по существу решение главного вопроса от того не изменится? А касательно этого вопроса я никакого сомнения иметь не могу. Я бы не говорил с вами в эту минуту, у этого окна, если бы он мог быть решен двояко.

Вера несколько медлила ответом, как бы проводя в собственных мыслях нить мыслей Вальдбаха, потом сказала:

– Признаюсь, и я надеюсь вместе с вами. Вчерашний день был для меня до того неожидан, все, что со мной случилось, мне теперь кажется такой милостью свыше, что я себя невольно спрашиваю, не сон ли это – весьма счастливый, и боюсь пробуждения.

– К счастью для вас, Вера Степановна, – отвечал, улыбаясь, Вальдбах, – я вижу наяву то самое, что вам может казаться-

ся сном, а потому не могу опасаться пробуждения. Но, признаюсь и я, – и я сам едва верю тому, что на моих глазах происходит. Впрочем, я давно знаю, когда происходит что-нибудь такое, что имеет решающее значение в жизни человека, то всегда непостижимое нечто заставляет совпадать одно с другим самые разнородные обстоятельства, и даже второстепенным случайностям невольно придается значение. Например, я весьма мог бы не приехать с Печериным, а между тем вы оба вчера признавали мое присутствие для себя чрезвычайно важным хотя бы потому, что, говоря о моем внезапном появлении здесь, будут менее толковать о вашей встрече...

В это мгновение Вера быстро встала и дрожащей рукой оперлась на окно.

– Это он! – едва внятным голосом проговорила она.

Вальдбах также встал.

– Я, однако, ничего не вижу, – сказал он, – а мои глаза еще надежны.

– Там, там, между деревьями, промелькнула тройка, – сказала Вера.

– Пожалуй, вы правы, – заметил после краткого молчания Вальдбах. – Я слышу топот лошадей.

Прошло еще несколько минут, и на полном скаку покрытых пеной лошадей тройка Печерина примчала к подъезду.

Вера бросилась к верхней площадке лестницы, которая вела во второй этаж дома. За ней последовал Вальдбах.

Печерин взбежал по лестнице, крепко обнял Веру, поцеловал ее и сказал:

– Теперь вы – моя признанная невеста. Я вам привез несколько слов от вашего отца.

Поддерживая одной рукой пошатнувшуюся от волнения Веру, Печерин протянул другую руку Вальдбаху и, обращаясь к нему, добавил:

– Все улажено: отец согласен, и дня через два сам будет в Липки.

В Белорецке никто не узнал ни о запоздалом приезде Суздальцевых, ни о случайной встрече в Черном Боре. Печерин рассказал о том одному Сербину, которого он действительно нашел в Белорецке; объяснение с ним Печерина было значительно облегчено самой г-жой Криленко. Еще Болотин сообщил Печерину, что накануне, тотчас по получении известия о загадочной отсрочке приезда Сербина, Прасковья Семеновна сама поспешила в Белорецк, опередила возвращавшегося туда камердинера Алексея, узнала каким-то образом о том, что Вера внезапно уехала в Липки, и обрушилась на Степана Петровича градом упреков насчет его слабости к дочери и укоризненных выражений насчет самой Веры. Напрасно Сербин пытался ее уверить, что Вера с его ведома воспользовалась приглашением Суздальцевых. Г-жа Криленко продолжала осыпать Степана Петровича язвительными укоризнами, а потом, в присутствии Болотина, стала тре-

бовать, чтобы Сербин немедленно переехал на хутора и прервал сношения с самовольно покинувшей его дочерью. В пылу гнева и опасений насчет последствий колебаний Сербина Прасковья Семеновна не замечала, что и он постепенно переходит в состояние страстного раздражения. Наконец в нем оборвалась последняя нить самообладания. Он задержал Болотина, который хотел уклониться от присутствия при такой сцене, и в свою очередь осыпал Прасковью Семеновну упреками, тем более обидными, что они касались ее денежных дел. Разрыв был полный, и когда г-жа Криленко объявила Сербину, что впредь ее нога не будет в его доме, он отвечал ей предложением послать за Подгорельским: пусть он проводит ее до хуторов...

Печерин и Вера проехали в Липки через Васильевское, чтобы на пути поклониться могиле доброй Анны Федоровны и побеседовать с отцом Пименом. В Липках Суздальцевы встретили их на крыльце своего дома. Марья Ивановна с выражением искренней радости на лице расцеловала Веру и в порыве доброго чувства обняла Печерина.

– Припомните, – сказал ей Печерин, – слова, которыми вы меня однажды напутствовали. Вы тогда отдали Веру под защиту бедной Марьи Михайловны.

X.Z.